

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

В. Н. Бараков
Н. В. Возжаева
В. В. Гончарова
В. Г. Захарченко
Е. А. Золотова
Н. А. Ивеншев
В. В. Касьянов
Д. А. Ковальчук
Ю. В. Козлов
В. Ю. Лапина
Ю. М. Лощиц
Ю. В. Лучинский
С. Н. Макарова
А. В. Пиценко
Н. Г. Пугачёва
Л. А. Сычёва
А. В. Татарinov
А. А. Фокин
Е. В. Хомутов
В. И. Шульженко

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Юрий Михайлович Павлов

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Н. И. Крижановский

РЕДАКТОР ОТДЕЛА

В. А. Бельтюкова

ДИЗАЙН

И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЁРСТКА

Е. А. Быковченко

КОРРЕКТОР

Л. А. Мирошникова

РОДНАЯ КУБАНЬ

Литературно-исторический журнал
№ 1 (102) 2024 г.

Адрес редакции:
350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 2.
Тел./факс 259-60-27; e-mail: r-kuban@inbox.ru
Подписной индекс: 31899.

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Краснодарского
края, ООО «Газетно-информационный комплекс
«Кубанские новости».

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газетно-информационный
комплекс «Кубанские новости».
350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 2.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
автора публикации.

Заказ № 1285

Тираж номера 760 экз.

Свободная цена.

Подписано в печать ??.06.2024 г. Формат 84х106/16.

Дата выхода ??.06.2024 г.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15, 12.

Отпечатано АО «Издательство «Советская Кубань»,
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 106

Журнал зарегистрирован в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
по Южному федеральному округу ПИ № ТУ23-01250
от 29 января 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

«ВЕЛЕНЬЮ БОЖИЮ, О МУЗА, БУДЬ ПОСЛУШНА...» 6

НАТАЛЬЯ ВОЗЖАЕВА

«СПОЛЗАЕТ ТИХО ВРЕМЕНИ СМОЛА...» 18

СЕРГЕЙ ЗУБАРЕВ

«ЗОЛОТОЙ СВЕТ ПАМЯТИ...» 24

ЕКАТЕРИНА ГРУШИХИНА

«РУСЬ МОЯ, СЕРДОБОЛЬНАЯ СКАЗКА...» 30

ЛАРИСА АРЕФЬЕВА

«НА НЕБЕСАХ СВОИ РАСЧЕТЫ...» 36

КРИСТИНА ДЕНИСЕНКО

«СНЕГ ЛИСТАЕТ ЖИЗНЬ ОТ ЗИМЫ К ЗИМЕ...» 42

ПРОЗА

НИКОЛАЙ ДОРОШЕНКО

ДУША 52

НИКОЛАЙ УСТЮЖАНИН

МОРЕ ЖИВОЕ 68

МИР ПРЕКРАСЕН 70

ДМИТРИЙ ЧУРКИН

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 72

НА СТЫКЕ ЖАНРОВ

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ 82

АНДРЕЙ ПИЦЕНКО

РУСЬ ФЕВРАЛЬСКАЯ 88

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ИСТОРИИ

ВЛАДИМИР КАЗАНКОВ

СЕЛО ТРЕХСЕЛЬСКОЕ: СТАНИЦА,
КОТОРАЯ НЕ СЛУЧИЛАСЬ 96

ТАТЬЯНА РАДИОНОВА

БРАТЬЯ КЛЮЧАНСКИЕ 104

ГОСТЬ НОМЕРА

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я ЖДУ, ЧТО ЛИХОНОСОВ ВЕРНЕТСЯ»

Беседа Андрея Нейжмака с Александром Федорченко 112

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕОРГИЯ КОНИССКОГО,
АРХИЕПИСКОПА БЕЛОРУССКОГО 122

ИРИНА КАЛУС

«НАШ» ПУШКИН 130

АНДРЕЙ БЕЗРУКОВ

АПОЛОГИЯ РОССИИ: А. С. ПУШКИН. 136

НИКОЛАЙ КРИЖАНОВСКИЙ

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ О «БАТЬКЕ ТАРАСЕ»,
ИЛИ НАДО ЛИ СМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА? 142

ПОЭЗИЯ

Он буйный был и непричесанный,
Он был немисливо-красив.

Гудел пчелам, шмельем и осами,
Ландшафтный украсил массив.

И даже тень, как озарение, –
Эпикуреец-бересклет,

Он чьим-то волеизъявлением
Насильно водворен в боскет.





АЛЕКСАНДР ПУШКИН

(1799–1837)

Великий русский поэт, драматург, прозаик, литературный критик, журналист и историк. По мнению И. А. Ильина, А. С. Пушкин – это «живое средоточие русского духа, его истории, его путей, его проблем, его здоровых сил и больших узлов», это русский боговдохновенный пророк, который своим духовным актом «созерцал и творил Россию» и которому присуще «чудеснейшее, целостное и победное цветение русскости».

«ВЕЛЕНЬЮ БОЖИЮ, О МУЗА, БУДЬ ПОСЛУШНА...»

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

*Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не ассессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.*

*Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рождением знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломки
(И, по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братицы, мелкий мещанин.*

*Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князя не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудренных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава Богу, мещанин.*

*Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчаный,
Иван IV пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.*

*Смирив крамолу и коварство
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили,
Нас жаловал страдальца сын.
Бывало, нами дорожили;
Бывало... но – я мещанин.*

*Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой:
Не любит споров властелин.
Счастлив князь Яков Долгорукой,
Умен покорный мещанин.*

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел наш род суровый,
И я родился мещанин.

Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин.

Post scriptum
Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Взрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.

И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.

Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин.
Что ж он в семье своей почтенной?
Он?.. Он в Мещанской дворянин.

1830 г.

Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога Самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества.

1830 г.

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор,
уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозой
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручки сольются
в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас...

За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь,
покойный на постеле,
Не в силах завинтить
свой измайловский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал
до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

1831 г.

БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

И что ж? Свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь –
Хмельна для них славян кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под лаком северных полей!

Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!
Но знайте, прошенные гости!
Уж Польша вас не поведет:
Через ее шагнете кости!..»
Сбылось – и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый –
И бунт раздавленный умолк.
В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали,
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?

Куда отвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали –
Смотрите ж: все стоит она!
А вокруг ее волненья пали –
И Польши участь решена...

Победа! Сердцу сладкий час!
Россия! Встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

К Н. Я. ПЛЮСКОВОЙ

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе в гордости свободной
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.
Но, признаюсь, под Геликоном,

Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

1818 г.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

1831 г.

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

1819 г.

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного
 умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

1828 г.

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.

Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор.
Если ж нет... по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.

1829 г.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

1829 г.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

1829 г.

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижусь меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды –
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

1829 г.

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

1830 г.

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь –
как раз – умрем.

На свете счастья нет,
но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

1834 г.

ЭЛЕГИЯ

* * *

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе, чем старе, тем сильнее.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упыюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

1830 г.

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор – и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я, но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечер еще бродил
Я в этих рощах.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет – уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит –
Летят за днями дни, и каждый час уносит

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим – и глядел
На озеро, вспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...

Меж нив золотых и пахотных зеленых
Оно, синее, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собою
Убогий невод. По берегам отлогим
Рассеяны деревни – там за ними
Скривилась мельница, на силу крылья
Ворочая при ветре...
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят – одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, – здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они все те же,
Все тот же их знакомый уху шорох –
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь молодая роща разрослась,
Зеленая семья, кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,

Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит.

1835 г.

* * *

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать
во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь
и битв,
Сложили множество божественных
молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденье,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

1836 г.

* * *

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здоровье надежды
И юности, и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лица день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром – нет! –

промчалась четверть века!

Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вокруг человека, –
Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,

Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Метались смущенные народы;
И высились, и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа –
Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда пред ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!
Вы помните – как оживились вдруг

Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он славный свой досуг.
И нет его – и Русь оставил он,
Взнесенну им над миром изумленным,
И на скале изгнанником забвенным,
Всему чужой, угас Наполеон.
И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлись новы тучи,
И ураган их...

1836 г.

Exegi monumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрійского столпа.

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца. ■

1836 г.





НАТАЛЬЯ ВОЗЖАЕВА

Родилась в городе Грозном.
Окончила в 1993 году Ростовский
государственный университет.
Автор двух стихотворных сборников.
Публиковалась в журналах
«Родная Кубань», «Москва»,
в газете «Завтра» и других СМИ.
Лауреат литературных премий.
Живёт в Новороссийске.

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

А там, в далеком далеке замкадном,
Заросший мятой, лопушистый садик,
Гневливых воробьев бодрящий ор,
И редкозубый, низенький забор
В неукротимом любопытстве хмеля,
По-воровски пролезшего сквозь щели.
И все смешалось – то, что было до
И то, что будет после под звездой.
Звезда в затылок смотрит горячо.
Вдыхать, вбирать, утягивать в зрачок
Воздушный сквер и гладкие колонны
Строения, бесстыдство Аполлона.
Без панибратства, но и не на «Вы»
Молчать, молчать на языке травы
О том, как по блаженным куполам
Сползает тихо времени смола,

О «до и после», о мгновенном «ныне»
И ждать, не шевелясь.
Смола застынет.

Погода – дрянь. Природа, извини.
 Переборщила, перегнула, в смысле.
 Запнулось все и метеозависло.
 Ни сил, ни дел, желаний тоже ни.
 Зайдешь в ВК, зарулишь в Телеграм –
 Соцсеть для развлечения, для смеха.
 На выкрик твой
 Ни эха, ни пол-эха.
 Залетной сойкой вскрикнешь и – ага.
 Посыл небес – предчувствие утрат.
 Тяжелый дождь в падучей бьется оземь,
 И ты уснешь в зародышевой позе,
 Надеясь на рождение с утра.

NN

Он буйный был и непричесанный,
Он был немыслимо-красив.
Гудел пчельем, шмельем и осами,
Ландшафтный украшал массив.

*И даже тень, как озарение, –
Эпикуреец-бересклет,
Он чьим-то волеизъявлением
Насильно водворен в боскет.*

*И где теперь очарование?
Ищу, ищу – не узнаю.
Шарообразно оболваненный,
Стоит в графическом строю.*

МАНДАЛА

*Вся из меня, дитя – уже не я.
Ей мир – пластмассовая уточка
С огромным сроком разложения.
А мне отмерено посуточно.*

*Она бежит щенком задиристым –
Ни смерть, ни горести неведомы.
А мне подмигивают ирисы
Пурпурно-бело-фиолетовым.*

*И я грожу им взглядом: тише вы,
Я чересчур сегодня мнительна.
И вдруг подумала, что выживу,
Раз ей назначена хранителем.*

*Тяну за ней свой скарб улиточный,
Летит моя солнцеподобная.
Ее планета – жук на ниточке,
Нет, мир не злой, но и не добрый он.*

*Каштан ссыпает снег на голову,
Два крылышка вписались в мандалу.
«Ой, мама, кошки съели голубя!» –
Кричит, не ведая об ангелах.*

КРУПА

*Снег выродился весь в позорную крупу,
Озлобился, сечет невыносимо колкий.
А я иду на мол, что выпятил губу,
Надменно терпелив, невозмутим
и только.*

*Волна сошла с ума, но теплая свеча
Большого маяка призывно молчалива.
Учусь и я молчать, учусь не измельчать
И речь беречь в себе от не – и норматива.*

*Вибрируя слегка, мерцающая маяком,
Немногословно мол не говорит,
но молвит.*

*И мне уютно тут, и тает в горле ком
От страха, что несут неистовые волны.*

*Снег выродился весь, и суть его мелка,
Раздробленной крупой отвесно
сыплет сверху,
Но ветреный порыв стряхнет
с воротника
Неряшливую сыпь, брезгливо,
словно перхоть.*

СУММИРУЙ

Суммируй силуэты воробьев,
нагие ветки, ветер, пыль суммируй.
Мир полон ерундою до краев,
хотя кто знает, где края у мира.
Поди пойми, что ерунда, что нет.
Трезвонят колоколенки тюльпанов,
идешь на звук, на запах и на цвет –
вот и иди, и все идет по плану.
Короче сон, а тут еще весна
котенком теплым норовит под куртку.
Запоминай все мелочи: от сна
до в луже разомлевшего окурка.
Складируй все в карман, рюкзак, строку,
а на черта – да ладно, пригодится.
А если нет – простится дураку.
Господь прощает дуракам и птицам.

МАРТОВСКОЕ

Эта мартовская эклектика –
от гольства и до щегольства.
Вот младенцами из конвертиков
плотных почек глядит листва.
Размякает сугроб сухариком,
оседает – сойдет на нет.
Вон глазееет толпа мускариков,
вот нарциссы включают цвет.
Смерти нет, а и есть – не верится,
все шевелится, все звучит.
Подростковую хрупкость деревца

глядят ласковые лучи.
Виноград тянет соки лозами,
дышит первым теплом земля.
И от крокусов нежно-розовых
до слезы не отводишь взгляд.

Смешно. Отец покрасил в розовый
скамейку в розовых кустах.
Была шершава и занозлива –
теперь стоит такая – ах!
Какие пороссячьи нежности,
ну, право слово, детский сад.
И вот, сияющая свежестью,
среди изумленных роз «краса».
Зачем? Кому? Мы о практичности,
о «маркости», в конце концов.
– Ну, расчирикались по-птичьи тут,
не спорить с мужем и отцом!
Такой девчачий цвет для девочек, –
на маму с нежностью глядит.
На грядке лук пускает стрелочки,
и пляшет лето впереди.

ВЕСЕННЕЕ

Все затаилось, словно перед боем.
Предчувствие – готовится бросок.
Так беззащитно робко-голубое,
Подчеркнутое белой полосой,

*Так на виду, аж под ребром заныло.
Но эту битву выиграет мир –
У горлинок такие позывные,
Что нежность переполнила эфир.*

*А неподвижный воздух легок, жидок,
Еще совсем прозрачные леса.
И может, потому так неожидан
Подснежниковый вежливый десант.*

ВЕРНУВШИЙСЯ

**«О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле...»**

А. Блок

*Мы за столом «о доблестях, о славе,
о подвигах на горестной земле»...
Наш друг сидел, но словно бы не с нами.
Потрескивали угольки в золе.
Наш друг курил, курил весь долгий вечер,
наш друг смотрел в себя, а не вокруг.
Он попросил налить чего покрепче
и стопку грел, не опрокинув. Вдруг
он, оглядев уютное застолье,
натянута в улыбку рот скривил
и тихо попросил: «Натаха, спой мне.
Верней, прочти. Но только о любви.*

*Но только о беседке с тусклой лампой,
о мотыльках, о жимолости спой,
спой о песчаных пляжах под Анапой
и, может быть, и я спою с тобой».
Я пела, ну, вернее, я читала.
Мелькал в беседке мотыльковый свет,
а он сидел и в сад молчал устало.
Расцветиший сад молчал ему в ответ.*

ПИОН

*Он распустился за ночь воскресенья
и сам собой воздвигся на престол.
Не выдержав пиона вознесенье,
завидовал цветочный люд простой.
Высокий, а они шуришат «надменный»,
осанистый – они шипят «гордец».
Судачат о короне белопенной:
«Осыплется – и красоте конец».
А я не дам увидеть мелкой черни,
как увядает, облетает стать.
И в злом луче багрово-предвечернем
возьму и срежу царственность куста.
В хрустальный склеп я набираю воду,
и в комнате плывет печаль и мед.
В расцвете красоты, немой и гордый,
он воду пьет, не ведая, что мертв.*

ВЕРБНОЕ

Нам врет весна цветами и дроздами,
Беспечностью кафешек, голью пляжей,
К теплу стремящимися поездами.
Какая ложь. Верней, какая лажа
Все принимать за чистую монету –
Есть круассан, пить шоколадный латте.
Война идет, идет война по свету
В весеннем первоцветном маскхалате.
Не разбирая, прет, зараза, через
Нас, однодневков. Не пойдем, покуда
Нам врет она, надев на лысый череп
Венок из одуванчиков, паскуда.

Твоя ладонь мала в моей руке.
Ты и сама – еще чуть-чуть до метра.
Старушка ветви кутает в пакет
И облака спасаются от ветра.
И поползут «ребенки» облаков
По вербе и замрут на тонких ветках.
Ты спросишь:
«Бог какой?»
«Бог – Он таков...» –
И замолчу, не находя ответа.
А ты мне скажешь: «Он такой, как дед.
Он любит сад и веточки сажает».
Малышка, кто внушил тебе ответ
Короткий и всемудрый, как скрижали? ■





Архив Сергея Зубарева

СЕРГЕЙ ЗУБАРЕВ

Родился 28 августа 1954 года в городе Челябинске. Публиковался в журнале «Родная Кубань» и иных краевых журналах, газетах и интернет-изданиях. Автор сборника стихов «Грешное с праведным». Живёт в Анапе.

«ЗОЛОТОЙ СВЕТ ПАМЯТИ...»

ГЛАЗА

*Может, все это словесная муть...
Но глаза твои!.. Ну, просто беда.
Стоит только в тех глазах утонуть,
То не выплывешь уже никогда.*

*Что скрывает глаз твоих глубина?
Эта тайна так и тянет на дно.
И от глаз твоих я пьян без вина.
Погибаю... Но уже все равно.*

*Понимаю, что теперь мне каюк,
Я попался, как судак на блесну.
Не спасет меня спасательный круг,
Я тону в глазах твоих, я тону...*

* * *

*Кошки нет – пустились мыши в пляс,
Хватит им ходить по плинтусам!
Наступил для них веселья час...
Там-парам-парам-парам-парам...*

*И моя уехала жена
На неделю. Господи ты Мой!
Я сегодня пьяный без вина –
Умиротворение, покой.*

*Ни тебе разборок, ни обид,
Мне дела любые по плечу.
Хоть графин по горлышко налит,
Но я пить ни капли не хочу...*

*Вдохновенье есть – стихи пиши,
Ну а нет его – садись, читай...
Мысль предательски воткнет ножи:
«Милая, скорее приезжай!..»*

* * *

*Сменился мир с лица,
Ослеп он и оглох...
Сквозь души и сердца
Пророс чертополох.*

*А где цвела любовь,
Там ненависть возшла.
И вспыхнул смертный бой,
Такие вот дела.*

*Вновь насмерть жизнь и смерть
В бою том злом сошлись.
И крови алчет зверь,
И света жаждет жизнь.*

*В той схватке мировой,
Чтоб душу сохранить
И возродить любовь,
Нам надо победить.*

*«Ну а в душе твоей, –
Мне в сердце глянет Бог, –
Цветок снегов белей
Иль злой чертополох?..»*

** * **

*В шахматы с внуком играю,
Жертвую глупо ферзем...
Вот и коней я теряю –
Думаю я о другом.*

*Мысли, как некие птицы,
Мозг мой клюют и клюют:
«Долго ль война будет длиться?
Скоро ль победный салют?»*

*«Или для этого мало
Пролило крови и слез?
Время еще не настало?» –
Мучает душу вопрос.*

*«Как достается Победа,
Знает наш русский солдат...»
Мысли прервет возглас: «Деда!
Шах тебе, деда, и мат!»*

** * **

*Господи, я онемел...
Дерзости нет и отваги...
В руки не уголь, а мел
Взял и пишу на бумаге.*

*Вот и бумага бела,
Вот и не трогает болью, –
Я ж не сгораю дотла,
Мелом пишу, а не кровью...*

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

*«Сегодня было б сыну сорок пять...
Какие были б дети – наши внуки?..»
Жена прервет: «Не начинай опять...
Не воскрешай в душе былые муки».*

*И замолчит. Я тоже замолчу.
Мы не уснем сегодня до рассвета.
Нам кажется, по лунному лучу
Течет от сына теплый свет привета.*

*Посланье будем до утра читать,
И это все не вымысел, не бредни...
Сегодня было б сыну сорок пять...
Остался он навек тридцатилетним.*

* * *

ВРЕМЯ ОГНЯ

Не каждая пешка выходит в ферзи,
Не каждому светит удача...
И все же в лицо судьбе смейся, дерзи,
Но не унижайся до плача.

Ты – пешка, ты – пеший, иди и смотри
И больше заметишь, чем конник.
Пусть манит тебя вдаль цветенье зари,
Медвяно пьянит рядом донник.

Ты – пешка на поле, так поле вспаши,
Засей его, вырасти жито.
А в звездную полночь стихи напиши
О том, что в пути пережито.

.....

О горьких утратах, о светлой любви,
Той, что удержала над бездной...
И снова сердца будут рвать соловьи,
И в песне словам будет тесно.

За пешкою пешка идет, не спеша, –
Поэзии русской пехота.
И мается словом все так же душа,
И грезит все так же полетом...

Перед нами время огня,
и время покажет, кто из соломы,
а кто из железа.
Святитель Николай Сербский

Кто из соломы, а кто из железа,
Время покажет.
Будет внезапно на времени срезе
Выявлен каждый.

Этот казался крутым и отважным,
Вслед слышал: «Мачо!»
А опалило беднягу однажды,
Сдулся, как мячик.

Ну а другой был слабак и тихоня,
Весь из сомнений,
Но час настал, и рванулся в огонь он
Без промедленья.

Третий с пеленок во всем был упрямый,
Сильный да ловкий,
Шел над обрывом – бездонною ямой
По самой бровке...

Время огня полыхнуло над бездной,
Будь готов, каждый!
Кто из соломы, а кто из железа,
Время покажет.

БАРВИНОК

*Был уголок, заросший мятой,
Воспетый изнутри сверчком...
Сейчас барвинок виновато
Глядит, мол, я здесь ни при чем.*

*Посажен был на это место
Хозяйской твердою рукой.
Не прерывал ничьей он песни,
Не нарушал ничей покой.*

*Вечнозеленый, синеглазый
Он радует хозяйский глаз...
Но чай не пили с ним ни разу,
Такие травы – напоказ.*

*** * ***

Анне Ретеем

*Иные голоса тихи,
Но стоит лишь послушать, –
Ложатся на сердце стихи
И западают в душу.*

*И в сердце утихает боль,
Невзгоды отступают.
Надежда, вера и любовь
Опять тебя спасают.*

*И ты в душе лелеешь свет,
Подаренный поэтом,
И хочется, чтоб много лет
Согрет был этим светом.*

*** * ***

*И на камнях дикоросы цветут –
Было б желанье!
Ветры с дождями их хлещут и гнут.
Их топчут по пьяни.*

*Солнце закроет небесная хмарь,
Буйствует холод.
Но он цветёт, одуванчик-дикарь,
Солнышка полон.*

*Не угасай! И цветы, золотой,
Свет не потушен.
Радуй неброской своей красотой,
Грей наши души...*

ВЕТОЧКА ТАМАРИСКА

Казаниной Надежде

*Тонкая веточка тамариска
Розовой дымкой пьянит, как прежде...
Пусть не бывает дорог без риска,
Но и нет пути без надежды.*

Путь пролегает в песках барханных,
Снова в лицо и песок, и ветер,
Зной нестерпим, но ничуть ни странно,
Что тамариск по-прежнему светел.

Жизнь всегда – уравнение с иксом,
Где неизвестность сомкнула вежды...
Веточка тонкая тамариска
Вновь цветет – не теряй надежды!

* * *

Как удар по темени
С сердцем не в ладу
Мысль: «Пришел из темени –
В темень и уйду».

А душа упрямая
С сердцем скажут: «Нет!
Жизнь кончают драмою,
Но другой есть свет.

Никакою заметью
Замести нельзя
Золотой свет памяти,
Что хранят друзья.

Свет, как нечто главное,
Из надежных рук
Отдадут всем правнукам
Твои сын и внук,

Чтоб светил и радовал
Много-много лет
В их сердцах лампадою
Тот волшебный свет». ■





Архив Екатерины Грушихиной

ЕКАТЕРИНА ГРУШИХИНА

Родилась в 1973 году в городе
Москве. Окончила МГОУ
им. В. С. Черномырдина.

Публиковалась в журналах «Род-
ная Кубань», «Северо-Муйские
огни», «Донбасс» и других СМИ.
Лауреат и финалист литератур-
ных конкурсов.

Живёт в городе Красногорске
Московской области.

*Заклокотало предместье ада,
Художник фюрер – заправский бес –
Малюет руны своим солдатам.
Но сердце, блаженное, Ленинграда
Не вырвать ни Вермахту, ни СС.*

*Стать величавым, солнцевеликим
Не каждому городу дал Господь,
Блистать своим лучезарным ликом
И под поминальные чаек крики
Отдать за Победу и кровь, и плоть.*

*Оплакан слезами Невы и Мойки,
Людского страдания монолит,
О, Ленинград, тебе имя – стойкость.
Недаром Русь, словно птица-тройка,
Над Невским, по-гоголевски, парит!*

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ

*Приснилось ей, что потерялась сумка,
А вместе с ней военная поклажа.
Хотелось боль стоически захрумкать
В кармане затерявшимся грильяжем,*

*Запить сидро, а лучшие виски с колой,
Заесть пирожным с яблоневого негой,
Но то не кладь потеряна – осколок,
Промчался между альфой и омегой.*

*Сколь у войны неженское начало,
Столь у нее неженское обличье,
Воюют петербурженки, дончанки,
И нет провинциалок и столичных.*

*Есть только Русь! И там, за горизонтом,
Где брызжет кровь божественным рассолом,*

*Где смерть скулит заутреннее соло,
Они встанут под триколора зонтом,*

*И каждая из них чуть-чуть Мадонна,
И в сердце каждой след от пули ввинчен, –
Над «Градами» взмываются иконы,
Храня провинциалок и столичных.*

*Да будет Русь! И хлеб ее, и солод,
Покровы многотравия и снега!
Ведь то не жизнь потеряна – осколок,
Промчался между альфой и омегой.*

ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ СОЛНЦЕ

*Это всего лишь солнце. Ласковое большое.
Если оно в зените, значит, не быть беде.
Так размышляли парни в плавательных
шортах,
И устремлялись в реку, шествовать по
воде,*

*По золотым барашкам, по бирюзовой глади.
Знамо, апостол Петр им помахал ключом.
– Как же светло, Серега!*

*Не отставай, приятель!
– Вот чудеса – не ноет раненое плечо.*

*Пули умолкли – дуры. Зарубцевались раны.
Берег Донца садами райскими воспылал.
А в отражение неба, на голубом экране
Ровным шагают строем – души, а не тела.*

ВОРОТИЛСЯ ВЕТЕР

Воротился ветер с чужой земли –
Умудрен, просветлен, игрив.
Облаков раскачивая корабли,
Он увидел красоту, чей нежный лик
Был прекрасней заморских див.

Волосами ее заигрался ветер,
Колыхнул сарафан из льна:
– Как зовут тебя, девица, маков цвет,
В васильковых глазах потонул рассвет.
Отвечала она: «Жена».

Поднимая в небо колосья ржи,
Вольный ветер горазд летать.
По морищам земли ручеек бежит:
– Как зовут тебя, милая, расскажи?
И она отвечала: «Мать».

Все мертвее и выше степной ковыль.
В чистом поле стоит – черна,
Не поднимет звериной своей головы.
Вместо платья – саван, глазницы – рвы.
– Как зовут тебя, смертница, –
ветер взвыл.
Отвечала она: «Война».

Обезумел ветер, сошел с ума,
Молодецкий задор иссяк.
Полыхают деревни, горят дома,
У церквушки безмолвны жена и мать.

А высоко в небе – Господня рать, –
Журавлиный летит косяк.

**УМЧУ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
С ПАВЕЛЕЦКОГО**

Умчу на электричке с Павелецкого,
Чуть-чуть в деревню, в ласковую глушь,
Туда, где спят воспоминанья детские
В тени сливово-яблоневого куш.

Туда, где цвет благоуханный липовый
Бабуля бережно заваривает в чай.
Калитка покосившаяся скрипнула,
И я бегу родителей встречать.

Бегу, бегу махровыми лужайками,
Порхают семицветики у ног.
Так изобильно счастье, что не жалко мне
Вплетать его в ромашковый венок.

Умчу на электричке с Павелецкого
В смородино-крыжовниковый рай,
Туда, где жизнь божественно-простецкая,
Как дедов накренившийся сарай.

А электричка полотнищем стелется,
Горчит судьбины вересковый мед.
И бабушка вздохнула: «Перемелется...»
И буркнул дед: «До свадьбы заживет».

СЕРДОБОЛЬНАЯ РУСЬ

*Малахитовых елей макушки
Окунулись в небесную твердь,
Отчего в деревенских избушках
Сердцу русскому хочется петь?
Покатилась луна на салазках,
Разрумянилась как каравай.*

*Русь моя, сердобольная сказка,
Песнопеньями предков жива!
Славься, общество верных пиитов,
Охраняй красоту языка.
Ой, ты, Русь моя, – в небо калитка,
Маков цвет да студена река.*

КОГДА ГОЛУБОГЛАЗ И БОСОНОГ

*Я родилась в далеком октябре,
Окаменели времени скрижали
С тех пор и поезда отдребезжали,
И корабли уплыли в синь морей.*

*Когда голубоглаз и босоног,
То никакого счастья не надо,
Оно и так благоухает рядом,
Как медуница, ласковый вьюнок.*

*Вот помнится, бегу за пирожком
По пять копеек к заводской столовой,
А солнце дремлет в веточках еловых*

*И чинно ходит по небу пешком.
Уютный подмосковный уголок,
А если быть точнее, то поселок,
Понятной, беззаботной и веселой
Казалась жизнь – введение, пролог.*

*Года семидесятые – конец,
Так молода еще и лучезарна мама,
Стройна, черноволоса и упряма,
А рядом – бесшабашный мой отец.*

*Карьер – сосуд из белого песка,
Наполненный студеною водою.
Никто еще не встретился с бедою,
Никто еще не вздрогнул от звонка.*

*Тону, тону в далеком октябре,
Окаменели времени скрижали
с тех пор, и поезда отдребезжали,
И корабли укрылись в синь морей.*

ЧЕРНОВИК

(из цикла «От мужского лица»)

*Казалось мне, что черновик пишу,
Бесцветность будней строчками ероша.
Мол, тренируюсь, воздухом дышу,
А воздух сперт. Дышу, но понарошку.*

*Все думалось – настанет день и час,
Взыграют триумфальные литавры,
Вскричит валторна, рявкнет контрабас,*

*Забрезжит огонек у переправы.
Петляет бесприютная юдоль –
Вдоль древних рек, реликтового бора.
Приходит мудрость следом за бедой,
Воссоздавая новые опоры.*

*Мой черновик исписан вкривь и вкось,
На финишную вылетев прямую,
Меняет траекторию и ось.*

*И вроде жил, как люди, по уму я,
А доживать по совести пришлось.*

ЗВЕНЕЛ АПРЕЛЬ

*Звенел апрель, и мы звенели в нем
Бокалами с игристым безрассудным,
Был каждый день непокаянно судным,
Вернем ли ночь? Ужели не вернем?*

*Ты говорил, ты много говорил,
Бахвалился своим эпикурейством.*

*Апрель безбожно головы дурил,
На алтаре судеб священнодействуя.*

*Две тыщи пятый – сумасброд, нахал,
Он падал навзничь то орлом, то решкой.
А на рассвете века громыхал
Вагон любви и радости тележка.*

*Бурлила жизнь, и мы бурлили в ней,
Актеры погорелого бурлеска.
И не было прекрасней ахиной
Чем те, что приходили в эсэмесках.*

*– Люблю тебя! И я тебя люблю! –
От Пятницкой катилось до Ордынки.
Одну вставляли голову в петлю.
– Люблю тебя! И я тебя люблю!
Мы две неразделимых половинки.*

*Утихла поцелуев кутерьма,
Рассыпанная в залах Третьяковки,
Где две фигуры сгнули в потьмах,
Где снегом нахлобучены дома,
И пейзажист не пожалел грунтовки.
Апрель звенит. Вот только я нема. ■*





Архив Ларисы Арефьевой

ЛАРИСА АРЕФЬЕВА

Родилась и выросла в городе Самаре. Автор поэтического сборника «Гербарий». Публиковалась в журнале «Родная Кубань», «Четверговая соль» (город Пенза), в сборнике патриотической поэзии Союза писателей России «Сыновья уходят в бой». Живёт в городе Сердобске Пензенской области.

«НА НЕБЕСАХ СВОИ РАСЧЕТЫ...»

ГРАЧИ

Каждой боли и мути
Когда-нибудь
Да конец.
Как и этой зиме,
Что в агонии
Бьется жестоко.
Солнце прячет
За пазухой
Россыпь золотых колец,
А под панцирем
Льда
Чуть заметнее
Явь кровотока.
Тяжело подбираю,
По звуку,
К надежде ключи.
И упрямо ищу
В каждом всхлипе
Приметы начала,
«Мама, мамочка,
Видишь, вернулись...
Вернулись грачи».
Обозналась, родная, –
Вороны.
Но я промолчала...

ПИСЬМО

Бросьте, мама,
Я ведь не убит.
Я еще дышу
Донецкой ночью.
Вот у Кольки кончился лимит.
Мне свезло: на две ноги короче.
Мы сбежать сумели от войны,
Отодрав металл от мерзлых пальцев.
А теперь войне мы не нужны –
Колька мертв, и я такой не сдался.
Вот лежу, не целый, но живой.
Ночь цежу по капельке, смакую.
Стайка звезд, напуганных стрельбой,
Жметесь к стеклам.
Красоту такую
Раньше никогда не замечал,
Под ноги глядел,
На кой мне звезды...
Впору в пояс кланяться врачам.
Слава Богу, что еще не поздно.
Я в порядке, вам наговорят...
Не пугайтесь, мама,
И не верьте.
Здесь такие чудеса творят!
Рядом с ними «бледный вид»

У смерти.
Р. С. Закудахчат бабы:
Дело – швах!
Бросьте, мама,
Разве это горе...
(будем экономить на штанах)
Любящий, живой,
Ваш сын Григорий.

Всю ночь шел дождь.
Растерянной, немой,
Я шла за ним, приученная
К зимам
Иного рода, и казалась
Мнимой
Его игра январскою
Листвой.
Был запах моря странным
И чужим.
Как будто бы спросонья,
Спозаранку,
Седой аптекарь,
Перепутав склянки,
Смешал в одной иод и
Рыбий жир.
Гремя, катилась южная
Зима
(весомая нагрузка
Перепонкам),
И море, не найдя опору
Кромки,

Сходило потихонечку с
Ума.
Терялась крутобокая луна
В роскошестве садов
Вечнозеленых,
А спелым, но не
Собраным лимонам
Была еще не названа
Цена...
Но первому лучу подставя
Бок,
Уже полоска неба
Розовела.
Всходило волшебство
Весьма умело,
Не перепутав запад и
Восток.
Все начиналось с россыпи
Штрихов.
Хлебнув с лихвой
Божественной отравы,
Я, не дыша, смотрела,
Как с агавы
Стекала ночь, не шелохнув
Клинков.

Торопились звездочки,
Спотыкаясь, падали.
Загадаешь наскоро,
Маешься, а надо ли?
Что сбывалось ранее

То уже не сбудется.
Улетела молодость
Сизокрылой утицей.
От весны до осени
Канитель загрудная
А к зиме уляжется,
Забубнится буднями.
Запорошит добрая
Корешки да семечки,
Как с землей управится
Подберется к темечку.
Не смахнешь перчаткою,
Не воротишь прежнего.
По зиме желается
Только неизбежного.

НОСОЧКИ

На окне герань-невестой.
До весны такая малость!
За нелепой занавеской –
Одиночество и старость.
Помнит сердце – без обмана,
Если завтра день воскресный,
Запах пирогов – дурманом,
Смех залиvistый да песни.
А сегодня тихо в доме,
Скучно чистым половицам.
Фото в рамках, не в альбоме,
Берегут родные лица.
Печь дымит и быстро стынет.

Вяжет женщина носочки –
Темно-синие для сына,
Разноцветные для дочки.
Только сын давно не пишет,
Дочка с мужем за границей.
Далеко, и вряд ли слышат
Как тоскуют птицы-спицы.
Как живется в том Париже?
На пол скатится вязанье...
Старый кот подсядет ближе,
Заприметив расставанье.
Всех прощая, без упреков
Сердце бьется тише, тише...
И душа чуть раньше срока
Улетит туда, где крыши,
Не спеша, качают звезды
В вечном споре с цветом белым.
В гости поздно, плакать поздно.
Отболит ли? Отболело...
Горечь сбережет осина...
Не довязаны носочки –
Темно-синие для сына,
Разноцветные для дочки.

Картина маслом –
Первый снег и я,
Ну наконец-то
Радость бытия.
И если «я»
Убрать, то тоже клево.

Еще вчера больной,
Чернящий,
Квельый
Сад выглядит
Нарядно и свежо.
Сугробом гордо
Выситя стожок,
А чуть копни –
Теплом зашевелится...
Ложится след
Давно знакомой птицы
Ажуром паутинного
Платка
Из тех, к которым
Тянется рука
Перебирать узор
Да любоваться
Затейливой игрой
Умелых пальцев...

Былые горести не в счет –
Цена иная,
Когда единственный идет
По кромке края.
И пару выдохов спустя,
Поверя в случай,

Не вдруг поймешь,
Что ты пустяк,
Так, закорючка,
В протяжном списке из
Имен
На челобитной,
Не всякий верою силен,
А за молитвой...
Сорокоуста пестрый лист
Бедой уборист.
Здесь каждый горем
Голосист –
За Ольгу, Борю...
И сорок дней из уст в уста
Все выше, выше.
Есть малый шанс,
Один из ста,
А вдруг услышит?
Но, как всегда,
На небесах
Свои расчеты.
Да хватит ли земных осанн
На день заботы,
Где летний сад
На рай похож,
Обласкан синью.
Где куст жасмина
Так хорош!
Невыносимо...

Пришли затяжные дожди,
С собой прихватили тревогу.
Раскисла до грязи дорога.
Калитка не стукнет, не жди...
Промокишие дни. Вечера
Размыты, как лист акварели.
Озябшие хмурые ели
Молчат тяжелей, чем вчера.
Над крышей соседа – дымок.
Пора бы утешиться печью.
Вздохнет как-то по-человечьи
Собака – и ляжет у ног.
Зонт сломан, да Бог с ним, с зонтом.
Дожить бы до Нового года,
Чтоб так же чехвостить погоду –
Хватило бы нас на потом...

День допит.
Цедила сквозь соломинку,
Скомкав слово
Болью сжатых губ.
Песнь заводят
Белые паломники.
Не о том ли песнь,
Кто сердцу люб?
Тонет в ледяном
Многоголосии
Шепот
Заплутавшего листка.
Снег пришел
Приметой
Поздней осени,
Взял да и остался
На висках... ■





Архив Кристины Денисенко

КРИСТИНА ДЕНИСЕНКО

Родилась в 1983 году в городе Юнокоммунаровске Донецкой области УССР. Печаталась в журнале «Родная Кубань», поэтических сборниках, литературно-художественных журналах. Автор нескольких книг. Дипломант поэтических конкурсов. Живёт в селе Куйбышево Ростовской области.

«СНЕГ ЛИСТАЕТ ЖИЗНЬ ОТ ЗИМЫ К ЗИМЕ...»

КАЛИНОВАЯ ГОРЕЧЬ

Говорят, двери в церковь открыты
для всех, и вот
Я иду за тобой по пятам к алтарю в свечах.
Как калиновый чай на губах, по тебе горчат
Неотпечетой души мысли в тон
беспокойных нот,
Мысли в тон неприкрытой досады,
что растерял,
Будто ясен, в дождливую осень скупую медь,
Отражением право в зеркальных
зрачках чернеть,
Быть не призраком,
а человеком больших начал,
У которого в планах семья, палисад и дом...
И кружить на руках тебя
в платье белее вьюг...
Свет покровской свечи
на ладонях вконец потух –
Ты просила найти мое тело в бреду немом.
Я не там и не здесь,
как рукой к сердцу ни тянись...
От потерь до потерь во мне вера крепчала в нас.

До чего же калиновым чаем горчит рассказ
Неотпечетого сына Отчизны
с крестами ввысь.

Я иду за тобой круг за кругом, из зала в зал.
Может, где-то, в какой-то больнице
ни жив, ни мертв?
Ты выходишь такой же из церкви
в просторный двор,
А там холод венки
на солдатских гробах сковал.

И ты плачешь по мне, будто в каждом я.
Если смог бы, и сам бы завыл,
как побитый волк.
Боже правый, неужто
и правда я в битве слез?

Почему ты не дал мне за мать
и отца стоять?

Снова горько до жути губам и горит в груди.
Будто рвется душа и болит
все сильней спина.

Открываю глаза! Ты со мной,
как во сне, бледна,
И огарок покровской свечи на столе чадит.
А сказать не могу ни полслова, ни ах, ни ох.

Только пристальным взглядом кричу тебе:
«Хватит слез.
Я живой! Я к своим вопреки всем
и вся дополз...
И я встану, не плачь! Ибо встать
мне велел сам Бог».

МИРУ МИР

Солнце красное ясным соколом
Поднимается над высокими
Берегами с церквями сонными
И роняет свое перо
На балкон расписного терема...
Не напрасно я свято верила
И ждала не напрасно ласковой
вереницы лучей в сыром,
В расплескавшемся стужей мареве,
Как победы над страхом, спаренным
С беспокойством в больном сознании,
Не дожидаться конца войны.
Свет ложится к ногам покладистый,
Будут скоро скворцы и аисты,
А пока берегиней верности
Я у неба беру займы
Вместе с радостным чувством тернии
И взываю к Творцу смиреннее:
Между злом и добром безладицу
окончательно прекратить.
Солнце плавит на крышах наледи,
И, как слезы, капель тональная.
– Мой герой со щитом молитвенным
К милу дому на полпути!

Дождалась я весны и праздника.
Солнцем красным погода яснится,
И как будто заря – послание
Каравай в виде солнца спечь.
Возвращаются стражи Родины,
Ввысь знамена победы подняты.
Миру мир! Всемогущий сжалился,
Вняв мольбам о мужском плече.

БОГОРОДИЦЕ

Снег листает жизнь от зимы к зиме,
от сейчас к тогда.

Снизойди с холста, появишься извне
в золотых шелках.

Пресвятая Мать! Ночь плечом к плечу
проведем вдвоем.

Знаю, чай не пьешь, и мой плед колюч,
и людским нитьем

Ты давно сыта, как свободой стрижа,
как лучами день.

Знаю, как и я, ты порой грустишь,
стоит лишь задеть

За живую боль, за большую нить,
как за кружево.

Я не буду нить и чудес просить...
ты присядь, и все.

В окнах стынет звон бубенцов из льда,
колоколит ночь.

Мне бы свечи жечь, чтобы Бог воздал
по заслугам, но

Не прошу карать даже тех,
кто боль причинил не раз.
Пусть моей мольбой в здравии жилось
им бы лет до ста.

Огонек свечи в праведных глазах
распускает флер.
Нараспах душа. Сердце нараспах,
снег печаль намел.

Расскажи, как стать лучшие, чем была,
чем смывать грехи.
Разве можно жизнь с чистого листа
в Рождество скроить?

Если бы на жизнь стала вдруг ты мной,
ты бы как жила?
Монастырь? Обет? Крестик именной?
Господу хвала?

Красотой святой твой сияет лик,
нимб развеял тьму.
Что ни шаг ко мне, то гнетуще тих,
что ни взгляд, тону
В бездне карих глаз, в бездне всех времен
и народов всех.
Пресвятая Мать, разум мой затмлен,
а душа – ковчег
С раненой мечтой, с верой наотрез,
с горстью битых чувств.
Тонкие персты налагают крест –
я смиренно чту
Яркий облик твой, вдохновенный труд,
и взываю: стань

Гостьей до зари. Ночь снега метут,
время пятит вспять.

Гостьей дорогой, гостьей из икон
посиди со мной.
Расскажи, как жить, как из кожи вон
лезть не на рожон...

Не прошу вернуть мне былые дни,
не прошу щедрот.
Дай к твоим ногам голову склонить,
пока время ждет.

БЕССМЕРТИЕ?

Ты хочешь жить вечно, и павою в царствии
башенном
гулять босиком по зеленой траве средь
монашенок.

В заоблачном храме, в высоких светлицах
быть принятой,
и с Божьего облика святость читать в ясной
мимике.

В глазах отражаться, как в синих колодезях,
шелковой
и снова и снова склонять перед Господом
голову.

А Он не спешит удостоить явлением
редкостным:
с небес низойти и велеть несгибаемо крест нести,
На деле душой православной духовность
выплескивать,

быть в царство небесное званной
дневальным апостолом.

Ты знаешь святых по иконам соборов,
по Библии,
что Бог претендента на святость свою
не помилует.

Венец из Господней руки не принять
каждой набожной,
не всем же топтать босиком
в царстве Боговом травушку.

Святой не имел ничего, кроме веры
неистойой,
в горниле кипела душа. Так чиста!
Хоть на выставку.

Твоя же грешна. И хоть хлебом корми
обездоленных,
но этого мало, чтоб стало червивое
золотом.

ЗОВ ПОТЕРЯШКИ

Я взываю к тебе,
к сытой душе запеченным счастьем.
Я твои стыд и честь,
мой позывной – Потеряшка Настя.
Крыша над головой
куполom звезды считает в небе.
Я же в сорок втором
счету училась по крошкам хлебным.

Флигель был ветхий в хлам,

дождь заползал в нищету по стенам.
Я с ним напополам
горе делила во мраке бренном.
Голод, холод и жуть
были мне куклой, юлой и шаром.
Мне бы взять и уснуть,
я, не желая играть, играла.

То в живучесть, то в смерть,
то в вытеснение силы страха.
Я могла все стерпеть,
но не смогла разучиться плакать.
Я в себя Ленинград
сердцем впитала сырым и бедным.
Знаешь, как я ждала...
хлеба кусок и отца с Победой.

Я взываю к тебе:
не допусти ни блокад, ни травли.
Сыт, обут и одет,
в доме тепло и уютом пахнет.
Я фатальная грань,
мой позывной растворился в датах.
Сколько маленьких Насть
перестрадать не смогли блокаду...

Мой отец пал в бою,
мать умерла до начала мора.
Я себя узнаю
в каждой собаке, в котках бездомных.
Ты же тот, кто не знал
воя сирен и увечий тяжких.
Гордо держишь медаль
Насте – блокадницы-потеряшки.

СОЛОВЬЕМ НА РОДИНУ

О, если б мог восстать из мертвых певчей
птицей,
Я б соловьем поведал миру обо всем,
Что только может в сердце пушкинском
таиться,
Что греет душу, как живительным огнем,
И в час, когда луна распахнутым пионом
Желта, полна, меланхолична и нежна,
И в час, когда гранатовый рассвет студеным
Вливается в покои сонного зерна.

О, если б голос мой звучал весенней трелью,
То содрогнулся б даже яблонь белый дым,
И я б воспел Отчизну славной и примерной,
И я б воспел свой дом до немоты родным.
Я б выбрал дерево, похожее на айсберг,
И стыла б в жилах кровь от страха
не допеть
И захлебнуться в счастье, выдавая наспех
Любовь к Отечеству на птичьей частоте.

О, Господи, даруй мне птичью жизнь в России!
Верни меня обратно в распрекрасный край,
Где падает бутон луны на гладь бессильно,
И с лепестками невод достает рыбака.
Где много утекло воды с печальной драмы,
И ставит Марс летящим кораблям маяк...
А мне б лететь на крыльях соловья упрямо
На Родину, где русский дух, где Русь моя!

ГЕРОЮ

Земля, укрытая ветрами постоянных
перемен
То в снега белого не тронутую солнцем
ветошь,
То в нежную вуаль весенних красок
первоцветов,
Твой вечный дом, в котором ты до мелкой
дрожи забывен.

Земля – твоя беседка, над которой
облака летят.
Ты под гитару подбираешь к тишине
аккорды,
И будто между нами временные
границы стертые,
Я ощущаю каждой клеткой кожи твоей
скользящий взгляд.

И пальцам холодно от мысли, будто
покрываюсь льдом.
Твой дом – земля, земля – мемориал,
земля – обитель.
И даже через тысячу веков ты победитель,
Живым не возвратившийся с войны
в осиротевший дом.

Я правнучка твоя.
Как ты, люблю весеннюю зарю,
Герой, дошедший до Берлина,
в недожитом мае.
Я слезы на глазах безрезультатно унимаю
И за защиту нашей Родины тебя благодарю.

ВЕСЕННИЙ ЗАКАТ НА ДВОИХ

Одной на двоих тишиной
Стрелок бег на часах
Неспроста
Увит.
Край неба
Туман подпирает
Лучами остывшего солнца
Крепко.
Закат покатился по склону
Застывшей
В гипнозе беседки.
К веткам
Апрельских берез
Липнет розовый свет
Ядовитой до дна
Любви.

На бархате карем
Мечта алым пламенем
Зорь колдовских
Цветет.
Метет вдоль перил и ступеней
Волшебная тень
Сквозняками
Счастье.
Ты словно из сна,
Из Вселенной,
Распущенной в нитки
Горячей
Страстью.
А мне восемнадцать
Как будто исполнится

Лишь
В предстоящий год.

Чего только стоит
С тобой
Одним воздухом пылкой весны
Дышать.
Ведь ты у меня
Несравненный
С богами миров
Светотьмы
Стоокой.
Рисуешь гуашью
Вечерней зарницы
Струящийся негой
Кокон.
Так близко,
Что в пятки уходит
От трепетных чувств
Чуть живой
Душа.

ПОЛУПУСТАЯ ДУША

Время – бесстрастный кудесник
сознательной мглы,
Вихрем влетается в небо пустынного дома
И замечает песками следы ног, ведомых
Смертной тоской из угла в нежилые углы.

В левом – огнем щебетала певучая печь,
Пахло сухими дровами и терпкой рябиной...
Нынче – печалью и мелом на стенах унылых.
Время – песок, и сквозь пальцы не может
не течь.

Справа буфет, самовар...
и тепло вспоминать,
Видеть в пустом глубину пережитой
улады...
Время – песок, тишина, время –
ветер прохладный,
Ставит на сердце горящего солнца печать.

Тесно в проемах дверных лучезарному дню.
Дальние комнаты манят барханами судеб,
И проседает песок под ногами паскудно...
И до мурашек тревожных я в прошлом тону.

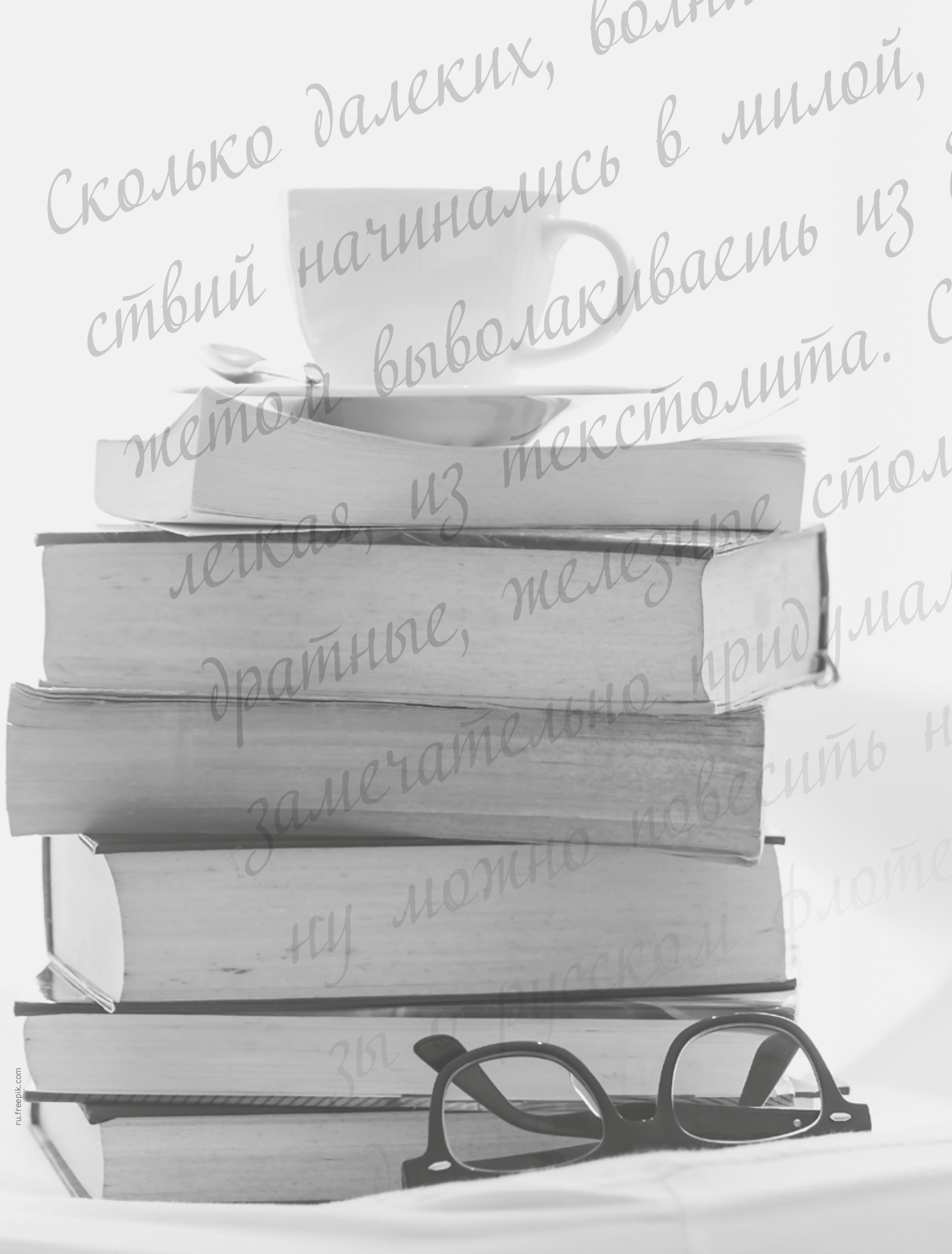
Шаг торопливый в оазис облупленных стен
Веру неверием рушит в распятую вечность.
Полупустая душа перепадом сердечным
Тише и тише взывает к тому, кто был всем.

РИСУНОК

Ты нарисуешь солнце на льняной стене,
И неприметный лед безмолвия растает,
Когда моя душа с твоей наедине
Переплетется, опоенная словами,
Когда и пасмурное сердце – звездный май,
Нахлынувший грозой вне всяких расписаний.
В немилости у сладкой правды принимай
Меня такой, какой давно не принимали
Ни в ярких зеркалах, ни в матовых тонах
Обзорных галерей симпатии высокой.
Я остаюсь тобой одним покорена,
И в чем, не понимаю, твой коронный фокус.

Врастает зарево во мрак немых углов,
И нарисованное солнце, как живое,
Трепещется подбитым временем щеглом
И негасимой нежностью обиду кроет.
Вновь на бемоли рассыпается зенит,
Приятный до мурашек, вытесненных кожей.
Привязанность в мольбертной комнате
звонит
Прощением, на оттепель слегка похожим.
Ночное солнце огне-скрипкой плавит тишь,
И я даю тебе в знак компромисса руку.
Ты полуправдами меня заговоришь.
– Я полувыдумкой опять сочту разлуку. ■





ПРОЗА



Архив Николая Дорошенко

НИКОЛАЙ ДОРОШЕНКО

Родился в 1951 году в селе Сухиновка Курской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Главный редактор интернет-газеты «Российский писатель». Талантливый русский прозаик, публицист. Лауреат Большой литературной премии, литературных премий им. И. А. Гончарова, им. Е. И. Носова и др. Заместитель председателя Союза писателей России. Живёт в Москве.

ДУША

(Главы из повести)

Часть первая.

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Глава 1.

О том времени, когда меня во мне не было

В тысяча девятьсот шестьдесят первом году в свои десять лет я почему-то никак не решался заглянуть в личико только что привезенного из роддома племянника — еще красненькое, еще словно бы недосотворенное, но уже обрамленное тем белым, с тонюсенькими кружавчиками, чепчиком, который сшила моя старшая сестра, а теперь, значит, уже и его мать Нина.

А тетя Фрося очень уж настойчиво меня подбадривала:

— Ты не бойся, ты подойди поближе, оно же тебя не видит! Ему пока еще ангелы небесные поют!

Да и Нина при этом мне улыбалась так, как будто я уже и не я, и она уже — не она. А ее муж Алексей попытался было спичкой поджечь свою папиросу, но тетя Фрося сразу же прогнала его.

Видимо, сколько-то шагов я все-таки сделал в приближении к племяннику, но потом тихонечко отступил и вышел во двор к Алексею, одиноко и с папиросой в оскаленных зубах сидящему у порога. Он меня тут же подхватил за пояс, рядом с собой примостил, совсем не по-взрослому спросил:

— Ты-то хоть его разглядел?

И я, уставясь на мысок его до блеска начищенного хромового сапога, вдруг понял, что и он, до сих пор одним только своим восторженным чубом, одною только своею совсем уж занебесной улыбкой всегда повергавший меня в щенячий восторг,

может оказаться таким же неприкаянным, как и я.

И с этого мига я полюбил его уже как обыкновенного человека, а не только как того вихря, который на своем редком по тем временам мотоцикле или иным способом вдруг возле нашего двора появлялся и столь весело да напористо с нами разговаривал, что каждый раз, когда они с Ниной, им все-таки завоеванной, уходили прогуляться до клуба, то и я, и даже мои родители какое-то время должны были приходить в себя.

— А правда, что ангелы ему поют? — спросил я у Алексея.

— Да так поют, что даже, ты ж видишь, тетка твоя меня прогнала... Только возле роддома сегодня утром дали чуть на руках подержать! — жарко и отчаянно ответил он и сунул в зубы новую папиросу.

Впрочем, в дальнейшие их церемонные у нас гостевания был он уже более спокойным, но и не прежним парубком, а всего лишь веселеньким мужичком с теплыми и волглыми, как согретый воск, глазами в темных и острых ресничках. И едва мой племянник успевал хныкнуть с нашей кровати, поперек которой его укладывали, Алексей тут же устремлял к Нине свой вдруг весь заострившийся, как и его реснички, взгляд. И у меня сердце начинало щемить от этого его беспокойства, а Нина Алексею в ответ улыбалась как-то очень уж снисходительно; и мне казалось, что это от одной лишь ее улыбки, медленной, для меня пока непривычной, племянник мой опять затихал. Алексей же, нашарив в просторном кармане своего пиджака папиросы, устремлялся на волю двора.

И я по своей щенячьей привычке вслед за ним выходил. А он то ли приобнимал меня за плечи, то

ли даже общупывал и с восхищением мне сообщал:

— Вот станет он таким же, как и ты, хлопчиком с косточками, буду я его от мамки с собою даже и на покосы брать!

Мой отец тоже выходил к нам. Садился рядом с Алексеем, чтобы с торжественной оцепенелостью помолчать.

— Что ли и вам не позволяют его на руки взять? — начинал допытываться у него Алексей.

Отец ничего не отвечал. Потом, опаматовавшись, приказывал нам:

— К столу надо идти, а то все стынет там...

Потом, как самое неважное, добавлял:

— А че тебе, Алексей, его на руки брать, пусть растет себе оно и растет... А когда ты понадобишься ему, то никуда денешься...

Потом, на Алексея не глядя, строго добавлял:

— Ты ото папиросы свои выкинь... Какой пример будешь подавать, когда оно вырастет... Ты ж с сих дней уже перестал быть парубком...

И за столом, чтобы не разбудить Колю (племянника назвали, как и меня, Колей), он в женские тихие, чтоб Колю не потревожить, разговоры не вступал.

А я уже вполне смело подкрадывался к племяннику, стремясь снова и снова увидеть, как он безмятежно посапывает в своем — словно бы от всех нас далеко-далеком — сне.

И казалось мне удивительным то, как он, все-таки уже почти настоящий человек, в своей далечине пока еще не догадывается, что я на него уже смотрю.

А вот теперь я много отдал бы за то, чтобы вспомнить пение также и своих ангелов.

Может быть, пение это еще не истаяло; может быть, где-то в самых уже неразличимых потемках моей памяти оно хранится. Может быть, я теперь всего лишь не могу различить его сквозь тесную толщу своих прожитых лет, а оно, уже и неслышное, само во мне потихоньку длится и длится.

Однако же, хоть и смутно, но помню тоненькое посверкивание голоса моей матери над, должно быть, моею, подвешенной к потолку, люлькою. Или это даже не столько голос матери мне запом-

нился, сколько впервые запечатленный в моем сознании ее образ, от которого все-таки сбереглось во мне вот это, как вечный небесный жаворонок, невесомо и неумолчно звучащее мерцание.

Трудно мне теперь угадать, что обнаружил я рядом с собой, впервые открыв глаза.

Да уже и стал я путать то, что запомнилось мне увиденным наяву, с тем, что увидел я в своих первых и причудливых сновидениях. Потому что, едва я просыпался, мать всегда с певучей радостью спрашивала: «А что моей пчелочке золотенькой присни-и-илось?» И я невольно оглядывался в свой сон прежде, чем успевал его забыть.

К тому же рождение моего первого племянника окончательно спутало все, что я о своем младенчестве в тогдашние десять лет не успел забыть, а что из забытого, на нового Колю глядя, вдруг припоминал.

Например, когда мать по своей крестьянской простоте советовала Нине пеленать Колины ножки потуже, «чтобы они у него не кривенькими выросли», то я вроде бы как вспоминал собственные колени, стиснутые пеленками или уж не знаю, во что меня заворачивали в послевоенной нищете моего тысяча девятьсот пятьдесят первого года рождения. И когда племянник приучился ползать, я, сострадая его ненасытному упрямству, обнаруживал, что мои ладони и коленки все еще хранят память о бугорочках узелков на наших самотканых половичках, о гладких, утром холодных, а к полудню горячих камнях у порога нашего дома, о шершавом, в гусяном помете и пухе, пространстве нашего двора и о ласковой, как тонкий шелк, земляной пыли у амбара, в которой, видимо, издревле купались и нежились все поколения наших кур.

Моя младенческая память оказалась живучей еще и по причине того, что слишком долго на мне, как на самом младшем, было сосредоточено в нашей семье всеобщее внимание. Не давали моей памяти обесцветиться постоянные, из года в год, рассказы и пересказы о том, как и по каким причинам я рыдал, чем меня от рыданий можно было отвлечь, чему я, «делая губы колечком», внимал наиболее охотно и радостно.

Брат Саша был старше меня на пять лет, а сестра Катя — всего лишь на три года. Но именно они оказывались моими сторожами и пастухами после того, как мать, убаюкав меня, спешила на огород. И когда я просыпался, то они должны были со мною изо всех сил играть. Но я уползал от них в поисках матери, я начинал плакать, когда они моему устремлению препятствовали. И пока я полз, брат и сестра, видимо, играли в то, что вот я все-таки ползу, а они мне, как плененной божьей коровке, не позволяют выбрать неверный путь.

Хотя не могу я теперь понять, как эти малыши, сами нуждающиеся в опеке, меня опекали. Да и через много лет однажды нашел я на чердаке сплетенную из тонкой лозы, наподобие корзины, «стоячую люльку», в которой, как оказалось, мать всех нас в нашем беспомощном возрасте, спящих или бодрствующих, вслед за своими заботами по хозяйству переставляла, в том числе и на огороде. Может быть, всего лишь несколько раз она меня оставила на попечение сестры и брата, а я это на всю жизнь хоть и смутненько, но запомнил.

Да и предположим, что аж до полутора лет — но ведь не дольше же? — ползать мне было сподручнее, чем ходить. Но ладони мои и колени все еще отчетливо помнят гладенькую тропочку огородной межи, мягенькие кудряшечки травы по ее обочинкам (эта трава почему-то называлась «гусиными лапками»), а также вездесущий молочай и суховатые, всегда припыленные листки подорожника. И невольно чуть ли не вздрагиваю я до сих пор, когда вспоминаю, как вдруг обжигал мое голенькое плечо свирепейший наждак стеблей или листьев подсолнухов, высаженных по обе стороны этой моей первой и, как мне тогда казалось, бесконечно длинной дороги. Еще помню, как вдруг под, видимо, особо крупными листьями подорожника обнаруживал я внимательно вглядывающиеся в меня круглые и влажные глаза огромной лягухи, как переживали мы вместе с нею свой осторожный друг к дружке интерес и как она вдруг упрыгивала с межи в свою тайную лягушачью жизнь. И еще помню, как не без удивления поглядывали на меня ногастые кузнечики своими цяточками

глаз, как я пытался хотя бы одного схватить, как эти кузнечики в сей же миг неизвестно куда пропадали. И помню, как брат опережал меня, когда я пытался сунуть себе что-нибудь или кого-нибудь в рот. Помню, с каким трудом проглатывался мною воздух, настоящий на теплой земляной влаге, на душных запахах картофельной ботвы, на медянном гуле пчел, на прозрачном и призрачном стрекоте и шорохе всяких иных насекомых; как сонный, но хладенький ветерок эти запахи и шумы то ли шевелил, то ли взламывал и тем помогал мне их все-таки вдыхать и выдыхать. И помню, как уже в полном изнеможении я начинал различать голос матери: «А кто это мамочку свою наше-е-ел, кто это к мамочке припо-о-олз, а кому я огурчик, а кому я самую красненькую морко-о-овочку тута нашла-а!»

В теперешней своей взрослой жизни, когда день пролетает, как единый миг, мне, наверно, за многие годы не выпадает столько умственных и переживательных усилий, сколько испытывал я, проползая от порога дома до той огородной грядки, где мать и Нина ловко орудовали своими тяпками. Каждая былиночка была для меня удивительной и своим стебельком, и своими боязливо замершими листиками; каждые встречные муравей или жучок меня завораживали ниточками своих лапок, своими, похожими на посверкивающие бусинки или даже на сундучки, тельцами.

И, конечно, отчетливо помню себя уже не на четвереньках, уже самостоятельно поедающим неподалеку от матери то ли первую завязь огурца, то ли с первой краснотцой помидор, то ли огромный, скрученный в бараний рог, стручок сочнее-го сахарного гороха; то ли уже на полуголом огороде терпеливо ждущим, когда брат наконец-то выкатит палочкой из костра нестерпимо горячую картофелину или, например, обскоблит такой же обугленный корень сахарной свеклы, который я затем поедал как самую огромную и самую сладкую конфетину.

А вербы в конце огорода — таинственные, темные и чужеватые — обозначали границу, продвигаться за которую мне не позволялось. И что было

там, за вербами, а также что таилось за всеми нашими плетнями, за воротами, за всеми доступными мне пределами, я не знал. Да вроде бы и не стремился узнать. Иной раз мать выносила или выводила меня на улицу, но на все, что там мне встречалось, я глядел так, как теперь гляжу лишь на бесконечно далекие звезды, для жизни моей посторонние. Какая-нибудь старуха подходила ко мне, чтобы беззубо прошепелявить: «А вот заберу я тебя у мамочки! А вот заберу-заберу!», но мне достаточно было отвернуться, чтобы разглядывать уже не ее усохшее лицо, а цветастую мамину кофту. Если же старуха не отставала, то я прижимался к маминому плечу и весь пропадал в нем — таком бесконечно теплом и мягком, что лишь в его укромнейшую тишину я невольно вслушивался и встал.

Заметную часть времени проводил я, конечно же, и во дворе, где отец в иной день с утра до вечера тюкал и тюкал своим остроющим топором по звонким бревнам, а я подбирал длинные, в кольца свитые щепы и тоже что-то свое из них то ли горюдил, то ли мастерил. А когда начинался дождь, отец меня ставил рядом с собой под скат соломенной крыши сарая, и мы молча глядели, как тонкие водяные струи стекают перед нами, слушали, как чуть в сторонке от нас вкрадчиво ропчет под колкими дождевыми каплями наш, как мне тогда казалось, бесконечно просторный сад.

Отец чаще молчал со мной, чем разговаривал. Потому что всегда так выпадало, что вместе с ним мы либо каждый в своем деле копошились, либо, «для передышки», смотрели на скачущих у собачьей миски воробьев, на кур, безруко слоняющихся у плетней, или на безвучнейшие пожарища заходящего солнца, или даже на восходы огромной и красноватой луны. При этом я вцеплялся в полу отцовского пиджака или в его штанину, а он накрывал мою голову рукой, как большой и теплой шапкой.

Да вечно же мне было на что-то глядеть. Например, на огромную мосластую лошадь, которую отец приводил с колхозной фермы, чтобы вспахать огород или мало ли для чего другого. Или на собаку, вылезающую из будки и во весь свой алый рот

зевающую. Или на петуха, зорко и грозно с плетня на всех нас посматривающего. Или на нашего гусака, который всегда на меня шипел, всегда пытался меня ущипнуть.

Впрочем, вряд ли я тогда гусака боялся так, как, например, уже в школьном возрасте страшился свирепейшего колхозного быка. Утром я стремился прокрасться на порог раньше, чем гусей выпускали к пруду; и не успевал как следует угреться на солнышке, гусак вдруг вскидывал голову, а завидев меня, начинал своим гусыням что-то гортанно кричать, а они ему что-то на своем гусином языке отвечали, а гусята тоже начинали пищать, мол, мы видим, мы тоже этого Колю видим! А наготовавшись, гусак расправлял паруса своих могучих крыльев и, уцелив в меня свой тяжеленный клюв, неспеша да косолапо ко мне устремлялся. И сердцу моему становилось так жарко, что я уже на месте усидеть не мог и заворуженно полз или шел гусаку навстречу. Но тут чьи-то руки меня подхватывали, я взлетал над гусаком и с выси своей глядел, как он, победно крича, возвращался к стаду. Гуси же все разом встречали его такими истошными криками, что уши у меня закладывало.

Но, помня вот этот жестяной и надсадный гусиный звон в ушах, я не помню себя тогдашнего.

И свои оцарапанные коленки, и свои, вечно в занозах, пятки, и свои ладони, и свои обожженные подсолнуховыми наждаками плечи я помню. И как сердце мое, когда гусак на меня наступал, будто кипятком ошпаривалось, я помню, а себя, а того человечка, который моими глазами на гусака при этом глядел, я не помню.

Как на фотографиях остается все, что увидел фотограф, но нет самого фотографа, так и в картинках моей памяти нет воспоминаний лишь о том, кем я в своем младенчестве был и что теплилось в моей душе.

Например, вроде бы я частенько плакал. Но было ли моей душе горько при этом? Или еще чаще я чему-нибудь удивлялся либо радовался. Но чем отличались все мои плачи от всех моих радостей?

Что ли они, как вихри в поле, хоть и во мне, но

ко мне непричастно зарождались и сами неизвестно куда пропадали?

Или кого-то я, например, нетерпеливо звал, кому-то о чем-то кричал. Но почему кричал? Какая у криков моих была причина?

По рассказам матери, я громко гыгыкал брату: «Гы! Гы!» «Гы-гы», — охотно и на моем языке отвечал брат, видимо, передразнивая меня. И потом мы, нагыгыкавшись, сияли друг другу глазами.

Но не из пустоты же сияли мои глаза брату Саше в ответ на его сияние?

Вот же отчетливо помню себя в более старшем возрасте и уже от всех отдельного, уже во что-то свое погруженного, уже от кого-то уворачивающегося, а кому-то стремящегося попасться на глаза. Как, например, дядьке Максимычу, нашему соседу. Мол, гляди ж, дядька Максимыч, это я тут по улице иду, я! Чтобы он вдруг с восхищенным изумлением объявил чуть ли не на все село:

— Люди добры! А поглядите, какой Мыколище тута вышагивает! Еще б усы ему под нос прицепить, да шашку сбоку подвесить — и от истинного казачка было б не отличить! Ай да хлопец у Григорыча уродился, ай да парубок у нас на селе появился!

И я при этом тайно пузырился и чуть не лопался от ощущения великой своей значимости. И понимал, что это я шлепаю по дорожной пыли босыми пятками, а не кто-то другой.

Но ведь и раньше все обязательно обращали на меня внимание, а вот что за существо ответно из меня выглядывало на всех наших сельчан, а также и на всех всматривающихся в меня кузнечиков, воробьев и ласточек, кто глядел из меня на наши огненно рдеющие помидоры, на надсадно орущее с плетня петуха, вспомнить я не могу.

Но не могло же быть во мне тогда так пусто и тихо, как бывает пусто и тихо лишь там, где пока еще никого и ничего нет?

Или и на самом деле во мне в ту пору пока еще не душа теплилась, а сохранялась нетронутой та первозданная тишина, в которой только и можно было различить чистое и прозрачное, как сам невесомый воздух, пение небесных ангелов?

Глава 2.

О том, как в начале жизни я, подобно Адаму и Еве, пребывал в райских кущах

Теперь даже в переполненном вагоне нашего московского метро, где все мы, как шпроты в банке, друг к дружке притулены, если нечаянно за чей-то взгляд зацепишься, тут же куда-то в сторону свои глаза отвернешь, дабы не выглядело так, что покушаешься на частность такого же, как и сам, человека. И если он спросит о чем-то, ответишь вроде охотно, но именно непространным своим ответом вроде как проявишь уважение к этому человеку. И на улице если кто заговорит о чем-то неопределенном, вроде того, что, мол, как же надоела эта жара, то точно так же, как если бы этот человек споткнулся, а ты его за локоть осторожно подержал, ты отвечаешь ему вполне участливо: «Да, дождик не помешал бы...» «Уже ж и трава на газонах вся выгорела!» — не унимается, допустим, этот неизвестный тебе человек. И ты вроде бы не молчишь, разговор продолжаешь вполне душевно. Но так и голубь, бывает, садится на подоконник моей кухни, и мы друг на друга смотрим, пока он не улетит или пока я сам не шагну к плите, чтобы снять с нее наконец-то зашумевший чайник. Но если б двойных стекол в окне не было, то и голубь, наверно, на мой подоконник не сел, а если бы и сел, я бы машинально его прогнал.

Вот и все люди в тесноте наших нынешних тротуаров и где угодно теперь друг на друга если и поглядывают, друг с другом если и вступают в разговор, то словно бы сквозь двойное стекло.

А иной раз идешь по улице, а навстречу женщина малыша за руку ведет. И малыш этот на тебя своими глазками глядит, и, допустим, пусть он при этом даже не улыбается, пусть он даже вроде бы куксится, но все равно весь он ясныйкий, так что и вся его «кукса» сквозь него просвечивает, как нити жилочек в кленовом листике, попавшем под ослепительный солнечный луч. Так что вдруг захочешь ты ему хотя бы подмигнуть, чтобы тем самым обрадоваться его пока еще легкой, как пух,

жизни. Но из приличия эту свою радость утаишь, мимо, как и подобает уличному прохожему, прой-
дешь.

Хотя все-таки нечаянную светлотцу от этого ребеночка в себе ощутишь и далее уже с этой светлотцей сколько-то минут проживешь.

А в ту далекую пору, когда я был таким же малышом, все мои односельчане по своему просто-душию стремились мне в лицо заглянуть, все пытались меня либо погладить, либо даже потискать, либо, по крайней мере, сунуть мне конфету или пряник. И в памяти у меня остались ласковейше притишенные голоса этих, со всех сторон устремляющихся ко мне односельчан.

Пройти мимо птичьих мельканий их рук было невозможно. Даже глухой на оба уха дед Яшка — мне особо запомнившийся своей приземистостью, необыкновенно широкими и кверху, как у орла, вздернутыми плечами, а также тонкой и длинной шеей, а также носом увесистым, вытянутым далеко вперед, и губами впалыми, будто проглоченными, даже вот этот удивительнейший дед Яшка, если заходил к нам во двор и, громко прокричавши моему отцу: «Иван Грыгорыч! Не одолжишь ли бурав на часок? А то, будь оно неладно, дырку кой-где пробуравить надо!», то затем же и непременно спрашивал: «А твоегоменьшенького почему не видно?» А обнаружив во дворе и меня, руки длиннющие растопыривал и, как гусак, шел мне навстречу. А затем с растопыренными руками обмирал, и непонятные губы его раздвигались в улыбке, а глаза умильнейше зажмуривались. Отец подавал ему свой плотницкий, свой тяжеленный, не магазинный, в кузне выкованный и на каменном круге заточенный бурав, что-то и сам кричал ему в ухо, но дед Яшка не сводил с меня своих восхищенных глаз и уже, как не глухой, уже голосом обыкновенным, тихим, пытался со мной заговорить. А я, может быть, даже рот раскрывши и не дыша, зачарованно глядел на его огромный нос, на его пожатканное, в глубоких и темных рвах морщин, лицо, на его будто проглоченный рот, на его огромный кадык, на его орластые плечи.

Полагаю, что в деде Яшке и во всех моих, в

возрасте, односельчанах лишь с наибольшей непосредственностью проявлялось общее для всех много поживших людей стремление узнать в каждом детском лице то чистейшее мерцание, из которого когда-то вылепились и их собственные души, затем, может быть, жизнью обугленные, болящие, но и хранящие, все-таки хранящие в себе хотя бы самую малую искру изначального покоя и ничем не замутненного первородного счастья.

Потому как, где бы ни родился человек — в избушке ли, по пояс в землю вросшей и со слепыми окошками, или в вызолоченном дворце — в начальную пору жизни для него это были такие же райские кущи, как и те, в которых обитали самые первые люди — Адам и Ева — до их изгнания.

Когда твоя душа еще не знает ни добра, ни зла, когда твоя душа, как утренний воздух, абсолютно безмятежна, то вкус картошки так же приятен, как и вкус любого самого изощренного яства; и не было у меня тогдашнего гордыни, ради которой вкусу простого сахара предпочел бы я сладость более редкую. Да и вручную сколоченная и непокрашенная, воистину деревянная наша табуретка с ее за многие годы отполированными до янтарного блеска жилами, с буграми ее твердейших сучьев, с ее, между толстых ножек, перекладинками, о которые можно упереть свои не достающие до пола пятки, была для меня тем же самым, что и для кого-то иного дорожее кресло; да и ничто — ни золото, ни серебро — так завораживающе не блестит под солнцем, как живая капля на промытом дождем оконном стекле, ничто так не драгоценно, как тонюсенькие розовые лепесточки обычного для тогдашних сельских изб цветка, называемого «семейной радостью», ничто так не удивительно, как неутомимый маятник жестяных часов, прижавевших к стене рядом с семейными фотографиями, как огонь, жарко мерцающий сквозь щели меж чугунными блинами грубки, как посапывание ветерка в печной выюшке, как отцовский карман, в глубинах которого, едва отец возвращался с работы, нетерпеливо добывал я гостинчик, переданный мне летом от «ласточки», а зимой от «зайчика», и ничто меня так не насыщало уютным

покоем, как несмолкающий голос матери, и ни что меня в моей жизни уже так не воодушевляло, как, например, вот эти «ласточки» и «зайчики», никогда обо мне не забывающие, вечно обо мне помнящие и вечно меня одаривающие если не конфетой, то необыкновенно вкусным кусочком хлебушка, который я не разжевывал, а дотаивал во рту до его сладчайшей и воистину чудесной сути.

Мне довелось родиться хоть и в избе старинной, подслеповатой, по тому времени вполне обычной для нашего Курского края, но установленной на высоком кирпичном фундаменте; и, конечно же, со светлицей, с кухней, которая почему-то называлась «черной комнатой», с просторнейшей печкой, с темным и широким жерлом подпечья, со множеством печурок, с широкими запечными полатами, а также с сенцами, с кирпичным подвалом, с чуланом — притягательно сумрачным, освещенным лишь сквозь, величиной с кулак, отдушину.

Теперь не понятно мне, как мы все — мои отец, мать, брат, две сестры и я — в теснотушечке такой не наступали друг на друга, как помещались в черной комнате еще и другие полаты, более широкие, чем запечные, а также накрытый клеенкой стол, посудница, лавки, табуреты, а в часы ежедневного «поранья» — еще и деревянное корыто для мойки картофеля, стада чугунов, ведер, кувшинов... Или как в комнате «светлой» помещалась старинная, с резными спинками, кровать, всегда украшенная вышитыми подзорами и кисейным да кружевным покрывалами, самодельный, отцом выструганный диван, широкий и толстоногий стол, стулья, сундук такой, что на нем даже спать было можно, и сундук другой, в виде большого фанерного чемодана, ножная швейная машинка, дощатый шкаф, а также все те мелочи, которые уже не перечислить.

Но можно же было мне вместе с котом надолго от всех затаиться под просторным столом, можно же было мне подползти к подпечью и украдкой заглянуть в его тьму, как в бездоннейшую пещеру, или подкрасться к самой нижней печурке и вытащить оттуда гребешок со сломанными зубьями, пустой спичечный коробок, катушку без ниток

или совсем уж крошечный пузыречек, или почти не ржавый гвоздочек, или отливающую перламутром пуговицу, или совсем уж драгоценные, но, как ты их внимательнейше ни разглядывай, совершенно не нужные бусины, или даже расписной, может быть, братом забытый глиняный свисток, или даже шпульки от того ткацкого станка, который отец зимой ненадолго устанавливал в «светлой» комнате так, что, пока мать ткала половики или рядна, взрослому человеку можно было пройти мимо нее только боком, переступая через массивные и древние балки станочных стоп.

Даже при том, что на всю глубину печурок длины моей руки не хватало, богатства мои приумножались бы с каждым днем, если бы я их тут же не терял или если бы я благополучнейше не забывал о них, где-то вроде надежно припрятанных. Но с ненасытной надеждой на будущие свои поживы всякий раз я поглядывал и на печурки верхние, мне пока не доступные.

А в одной из печурок я однажды нашел, видимо, часть той конопляной кудели, из которой мать пряла нити для своего тканья. И когда я эту кудель попробовал вытащить, отец мне усмешливо сообщил, что это какой-то бородатый дед давным-давно к нам заходил, но бороду свою забыл, и вот теперь она его тут, в печурке, дожидается. И я уже к этой печурке не приближался. Хотя частенько глазами своими упирался в жутковато выглядывающие из нее волосья бороды и, не будучи в состоянии осмыслить эту тайну, щупал собственный подбородок, с которого, как пообещал мне отец, когда-то у меня вырастет борода такая же.

Однажды, обнаружив фанерный сундук открытым, я вытащил оттуда отцовские, от войны, медальки, а мать, удачам моим обычно радуясь, эту находку у меня отобрала, и я было разрыдался, но брат вдруг извлек из своего кармана куда более важное сокровище — складной ножичек. «Хочешь увидеть, как он режет?» — спросил он торжественно и подобрал у печки оставшуюся от растопки щепочку и начал ее строгать. Я, конечно, рыдать перестал, потянулся к ножичку, а брат с великою важностью меня предостерег: «Этот нож такой

сильный, что у тебя он из рук, как царапучий кот, вырвется, и сделает тебе бо-бо...» И остороженько уколол меня кончиком лезвия в ладонь. «Бо-бо! Бо-бо!» — с не меньшей важностью стал я показывать всем свою тронутую удивительным ножичком ладонь. Но напрочь забыл и о медальках, и о ножичке, когда увидел, что отец, вооружившись самодельным совком, отправляется в чулан за зерном для гусей. О, у меня мурашки по спине ползли то ли от холода, то ли от жути в этом нашем сумеречном чулане, где вдоль одной стены простирались массивные и, чтобы мыши их не прогрызли, окованные железом закрома, а над ними свисали с потолочных крючьев мешочки с сахаром, с маком, с горохом и фасолью, с сушеными для взвара фруктами и мало ли с чем еще. А вдоль другой стены были полки, и, кроме отцовских столярных и плотницких инструментов, которые я уже мог отличить, все прочее на этих таинственных полках мне было непонятным и то ли виделось, то ли жутковато мерещилось.

Лишь в подвал мне долго не удавалось заглянуть, потому что, если его открывали, чтобы извлечь из него, допустим, банку с вареньем или капусту, или моченую в капусте антоновку, то меня тут же кто-то подхватывал на руки, на что-то другое отвлекал, и я, по простоте своей, даже об этом таинственнейшем подвале в единый миг забывал.

Родительские или Нинины руки, а также Сашины и даже самые незамысловатые Катины хитрости, подобно явлениям природы, сверху и сбоку, и отовсюду чинили препятствия всем моим устремлениям, но и тут же прицеливали на что-то другое. Все меня переставляли и передвигали с места на место, как табурет, вечно откуда-то меня выманивали и куда-то заманивали, и я, насытившись в кочевьях своих по дому, иногда садился поближе к матери на половичок и начинал хныкать, возможно, по тем же причинам, по которым, например, люди взрослые и степенные даже во время самых веселых застолий вдруг с особым наслаждением начинают петь какую-нибудь свою самую что ни на есть печальную, самую заунывную песню. Сестра Катя пыталась на что-то

меня отвлечь также и от этого моего хныканья, а мать ей говорила: «Если ему так сподобилось, то пусть же он погудит...»

Еще не зная жажды добра, я никого из не позволяющих мне покрутить колесо прялки или достать из кошелочки первого и особо приманчивого цыпленочка не мог заподозрить во зле, а не зная горя, я не понимал, что счастливей, чем я, быть уже невозможно. Как сытая рыба-кит блуждает по океану, так и я блуждал под столом и вокруг стола, а также от чулана к печке, а от печки в светлицу, например, к совсем уж волшебной швейной машинке «Зингер», чтобы, не успевши вздрогнуть от прикосновения к ней хотя бы кончиком пальца, вдруг обнаружить, что Нина под ту табуретку, у которой в сиденье была дырочка от выпавшего сучка, ставит устланную тряпицей кошелочку с цыплятками, чтобы я, желтеньким и писклявеньким комочкам этих цыпляток, не причиняя вреда, как Нина меня уже научила, кидал им сквозь дырочку пшеничную кашку, а потом глядел, как пушистенькие цыплятки эту кашку склевывают своими крошечными клювиками. Ах, вряд ли кто-нибудь и для кого-нибудь, как для меня моя удивительная сестра Нина, создаст такую же — из табуретки с дырочкой, из застеленной тряпицей кошелочки с цыплятками и пшенной каши — фабричку по производству той нежности, которою я согревался и насыщался, то кашку сквозь дырочку прокидывая, то под табуретку на удивительные живые комочки цыпляток, кашку склевывающих, заглядывая.

Да и уже мало кто, видимо, помнит, что когда-то каждый сельский дом был истинным Ноевым ковчегом, странствующим в вечных потопах крестьянского бытования. В пещере подпечья иногда вдруг появлялся в качестве жильца купленный отцом на базаре опасливый и глупенький поросенок, которого невозможно было обнять так же, как и, например, кота, но, если удавалось почесать его за ухом, то он вдруг этой ласке подчинялся, становился покорным и смирным.

А еще иногда все пространство возле печки мои родители выстилали золотой, пахнувшей морозом

соломою, а потом вносили на рядне только что родившегося теленочка и укладывали на эту солому. И он тут же пытался встать на свои дрожащие ножки. И я заворованно на него глядел. Я пытался погладить его мордочку, а он пытался поймать своими мокрыми и теплыми губами мои пальцы, полагая, что это, может быть, коровье вымя. И мать давала мне бутылку с соской: «На, покорми своего дружка...» И вместе мы кормили жадного к молоку теленочка. Мать при этом бутылку держала, а я осмеливался ее лишь касаться.

Все те несколько первых дней жизни теленка, пока его не переселяли в коровий хлев, я не отходил от него, то трогал его шелковую шерстку, то просто глядел в его сказочные, в длинных ресницах, глаза.

А к весне под кроватью светлой комнаты и под полатами черной комнаты вдруг поселялись гусыни. Они сидели в своих плетеных из ивовых прутьев гнездах, и перед каждой стояли мисочки с водой и едой. И так было для меня в охотку дотянуться до теплых и с каждым днем все более бледных их клювов. «Чавш-чав-чавш», — шершавым шепотом они отвечали на мою ласку к ним. И ночью, засыпая, я слышал, как они мне вышептывали: «Чавш-чав-чавш». И так таинственна была их спрятанная под кроватью и под полатами жизнь. А потом вылуплялись под ними их шустренькие гусятки. Из гнезд мать пересаживала этих гусят в просторнейшую кошелю. И мне опять-таки позволялось лишь глядеть на них, поскольку я, однажды одного выхвативши, чуть его от восторга не задушил...

А едва начиналось настоящее лето, из дома я выбирался, блуждал по необъятным просторам нашего двора, нашего сада, нашего огорода. И, как пчела добывает мед во мреющих огнях цветущих подсолнухов, так и я упрямо напивался либо долгими созерцаниями вот этой пчелы, либо первыми сроненными с веток яблоками белого налива, либо накаленной солнцем, во рту жарко и сладко тающей малиной, либо мало ли еще чем.

А недавно мне довелось найти в Интернете весьма добротное киноповествование о жизни

того народца, который пока еще из лабиринта амазонских джунглей в наш нынешний взрослый мир из своего золотого века не выкарабкался и свой младенческий образ пока еще не утратил. Когда глядел я, как трое первобытных и бесштаных мужчин заостренными палочками ради пропитания неторопливо выкапывали анаконду из неким зверем покинутой норы, то в их воистину безмятежных лицах я считывал то, что в свои незапамятные детские времена испытывал и сам, когда с отцом мы кормили кур или гусей, когда возле матери я пасся на огороде, когда вместе с братом мы пекли в нашем осеннем костерке картошку и сахарную свеклу, когда с сестрой Катей мы щепочками проковыривали из дождевой лужи тонюсенькую ниточку собственного укромного ручейка.

Вот же, даже и изгнавши нашу пытливую человеческую породу из рая, Господь все-таки дает нам возможность оглядываться из своей уже отнюдь не райской жизни на покинутые нами райские кущи.

И орлиный дед Яшка с его длиннющим носом и огромнейшим кадыком, с его великой, сквозь Первую, Гражданскую и Вторую войны, сквозь голодоморы проросшей жизнью — вот этот дед Яшка если растопыристо устремлялся ко мне, еще младенцу, то только потому устремлялся, что понимал, что я пока еще тот Адам, который из рая не изгнан, который жизни в крови и в поте лица еще не знает.

Глава 3.

О том, как я себя в себе обнаружил

Потом я все-таки стал иногда прокрадываться аж к краю огорода, почти под вербы. Но огромные, сталисто посверкивающие кроны этих верб так незнакомо встречали меня и с такою могучею и тяжкою ко мне безучастностью шумели на высоком ветру, что я, прозрачнее постояв у них на виду с полминуты, помимо своей воли, возвращался к тому месту среди огорода, где в своей цветастой кофте и с тяпкой склонялась над кудрями картофельной ботвы вместе с Ниной или без Нины моя мать.

При всем том, что мать никогда не упускала меня из виду, очень уж радовалась она моему возвращению или, вернее, моему все-таки бегству от далековатых и тревожных верб. Но вот только я, никогда не успевающий оголодать без ее ласки, всегда этой ее лаской пресыщенный, делал вид, что мать даже и не слышу, что сам собою я тут на огороде живу. А вернее, под защитною сенью ее голоса я действительно жил-поживал так, как хотел. Лишь когда мать умолкала, когда на лице ее обнаруживалось одно только строгое внимание к лезвию тяпки, стремительно подрезающему сорняки и заодно пеленающему картофельные стебли мягеньким порошком нашей живородной земли, я, опять же помимо своей воли, приближался к ней, и либо утыкался носом в ее бок, либо просто цеплялся рукою за ее юбку. «Да как же пташеня-точка по мамочке своей соскучилось!» — опять радовалась она. И, оставив тяпку, начинала меня целовать и обнимать. А я из ее объятий опять выпутывался, уходил, например, к густо усыпанной желтыми чашечками цветков огуречной грядке, чтобы проверить, не появился ли там огурец хотя бы толщиной с мой тонкий палец.

— А было ж времечко, когда тебя отлепить от себя не могла, — жаловалась мне мать на меня самого. — Да для чего же я тебя в капусте искала, если к тебе теперь уже и не приластиться?

И кое-когда со стороны верб мимо нас в сторону двора, как вспугнутый заяц, очень уж шустро пробегал по меже мой брат Саша. И мать, с трудом разгибая натруженную спину, кричала ему: «Там на окне кувшин, дак ты хоть заодно молочка попей!» Он на ее голос оглядывался, но лицо его оставалось и для меня, и для матери посторонним. И мне казалось, что это когда под вербами пробегал он с того лужка, на котором паслись наши гуси, то, может быть, ледяной вербный шум все его лицо выпил. Мать же опять начинала мне жаловаться: «Неужели и ты, пчелочка моя роднесенькая, к товарищам из своего гнезбочка вылетишь и таким же, как Саша, малахольным станешь?..» А вскоре брат мчался обратно — уже с куском, толсто отрезанным от самопечной паляницы и обмакнутым в

сахар. «Хлеба всухомятку наешься, а скоро обед!» — опять пыталась докричаться до него мать. А у меня тоже вдруг возникало желание откусать нашего ржаного хлебушка. И мать охотнейше уступала: «Ну, пойдем же, пойдем, отломлю и тебе кусочек, а заодно хотя бы разогнусь...»

Лишь отец оставался невозмутимым, когда Саша даже и на обед опаздывал, а прибежавши, еду в себя запихивал наспех и ни на кого не глядя. Мог отец лишь спросить: «А гуси где?» «Да в пруд я их загнал!» — отвечал Саша вроде как недовольно. — Там хлопцы уже, небось, с обеда вернулись и купаются, так что и я побегу!» «Вот так растишь, растишь этих деток, а они, еще и не выросши, от сердца твоего уже спешат отлепиться...» — опять начинала жаловаться мать. «Ему в эту осень в школу идти, а ты его у подола хочешь удержать. Пусть же приучается жить положенной ему жизнью», — сурово отвечал отец и меня, пока еще от их сердца не отлепленного, поглаживал по голове своей шершавой, как подсолнух, ладонью.

А я и сам страдал оттого, что Саша прибегал с завербного лужка столь чужим. Помню, в один из ясных и, видимо, воскресных дней, отец не на работе пропадал, а, пользуясь погодой, разостлал по двору все наши самотканые рядна и высыпал на них зерно для просушки. А затем приказал Кате сменить Сашу возле гусей на завербном лужке, чтобы, значит, Саша тут во дворе прогонял от зерна очень уж вороватых воробьев.

Воробьи же сидели всюду: на плетнях, на ближних яблонях сада и даже на соломенных крышах сараев. И отважно поглядывали они на отца. А едва отец отходил от ряден, сразу они серыми тучами устремлялись к зерну. «Пырр! Пыррр!» — кричал на них отец с такою свирепостью, что я и сам пугался. И, чтобы отец поскорее становился обыкновенным, я собственными криками начинал прогонять этих крылатых грабителей: «Пырль! Пырль!»

Саша обиженно и как-то боком-боком вернулся с лужка и, ни слова не вымолвив, уселся на угол крайнего рядна.

«Ты не сиди, ты и зерно иногда шевели, что-

бы оно быстрее проветривалось. А после обеда будем с тобою его засыпать в закрома», — велел отец Саше и, напоказ пошуровав по золотому зерну своею ладонью, ставшей похожей на лопату, ушел. И воробьи тут же и с крыш, и с плетней, и с яблонь на рядна спикировали. Но брат, вскочивши, эту атаку их молча и мрачно отбил. Когда же они на свои прежние позиции вернулись, он принялся швырять в них всем, что под руку ему попадалось. И лишь после того, как в зоне нашей видимости ни одного воробья не осталось, опять он стих и скукожился. И на меня даже не взглянул, когда я попробовал ему показать собственное умение зверски супить брови и комья земли кидать. Не обратил он своего внимания и на мою попытку шевелить золотое зерно выпрямленной наподобие лопаты ладонью. Так что уже ничего мне не оставалось иного, кроме как подойти к Саше, да и приутиться лбом к его остренькому плечу.

— Вот же, еще и с тобою тут нянчиться, — вымолвил брат вроде и не сердито, но обращаясь явно не ко мне, а к собственным хмурым мыслям.

И в этот миг во мне, где-то под сердцем, вдруг впервые вспухло и зашевелилось нечто пока еще для меня незнакомое. Может быть, позже из этого горячего, перехватывающего дыхание комка, вдруг обнаружившегося в моей груди, затем выткнутся по отдельности и моя грусть, и моя щемливая тоска, и мои самые жгучие обиды, и мои леденящие одиночества, но тогда это все было слеplено в единый под сердцем комок, и я, не сумев ни захныкать, ни расплакаться, всего лишь потверже уперся лбом и носом брату в плечо и затих, полагая, что уж брат-то знает, как дальше мне быть.

То есть всегда было так, что и отец с его топором, и мать с ее либо чугунами возле печи, либо с тяпкой на огороде, и Нина с ее веселым да ласковым нравом, и Саша с его всегда участливыми ко мне выдумками, и Катя, пытающаяся Сашу предомною пересидеть, до сих пор жили-поживали только ради меня, а теперь вот впервые я обнаружил, что у Саши есть та своя завербная жизнь, по которой он только-то и тоскует, в сравнении с которой я уже для него мало что значу.

То есть получилось так, что душа моя мною различимою стала лишь тогда, когда впервые оказалась отдельной от Сашиной, уже завербной души.

— Ты че, так и будешь тут носом своим в меня дышать? — спросил брат, уже, видимо, ко мне потеплевши. — Иди к матери, там хоть гороха наешь-ся...

Я послушно от Саши отлепился, но не на огород отправился, а в сад, к кустам смородины, в которых вроде как воробей какой-то все-таки затаился. Жалобным и уже одиноким голосом вскрикнувши: «Пырль! Пырль!», я и ком земли докинул в кусты, но оказалось, что серел в них не воробей, а досрочно пожухший лист.

Потом, брату ненужный, я прокрался и на огород. Мать, собиравшая созревшие помидоры в большую корзину, тут же, конечно, начала радоваться моему появлению. Но именно обыкновенность этой ее радости показалась мне предательской.

И я вдруг разрыдался так, как, может быть, еще никогда не рыдал.

И мать перепугано поставила корзину меж помидорных кустов, ко мне подбежала, стала взволнованнейше допытываться: «А что случилось? А кто моего пташненьточку обидел? А никому да я не позволю моего Колечку обижа-а-ать!»

Но эти теперь уже не ко мне прежнему относящиеся и потому напрасные ее причитания лишь прибавили мне обиды даже и не на Сашу и даже не на тот помидор, который мать в отчаянии начала мне совать со своими обычными, горячими, но ко мне нынешнему все-таки безучастными причитаниями: «А ты ж да глянь, какой приберегла я помидорчик тут, а ты ж да только откуси чуточек, а ты ж да и выплюнь, если тебе не понравится...»

И чем больше она старалась утешить меня, тем с большим отчаяньем я рыдал.

Она подхватила меня на руки и попыталась к себе прижать, но я с яростью, до сих пор мне неведомой, принялся визжать и вырываться.

И неизвестно, чем кончилась бы эта наша борьба, с ее стороны, наверно, абсолютно слепая, да и моя такая же, если б не подошел к нам отец.

— Это почему он так орет? — расслышал я его хриплый голос.

— Да сама не знаю, отчего вдруг будто сказился он... — с жалобной беспомощностью ответила ему мать.

— А ты его отпусти, — строго велел отец.

— Да куда ж такого его отпускать...

— А куда он хочет, туда ты его и отпускай... Не будешь же ты его вот так до скончания света держать...

Мать осторожно поставила меня на землю, и на этом не только мои рыдания в миг прекратились, а и вообще прекратилось все.

Потому что, когда отец, уходя, напоследок сказал матери свое хмурое: «Ты ж, кого хочешь, можешь довести до скажения своими вечными причитаниями...», — то я, сам не понимая зачем, поплелся вслед за ним. Да так потом и пробыл возле него. Отец шел в чулан возиться с закромами, а я стоял возле чулана. Он уходил в глубь двора вытряхнуть мешки от пыли, а я останавливался от него, хоть вроде бы и в сторонке. Он туда, я сюда, но и вслед за ним.

И он наконец спросил:

— А ты чего тут?

И я плечи свои угнул, я был, наверно, как рыба, готовая отчаянно занырнуть в для всех невидимую океанскую глубину.

А поскольку деваться мне было некуда, то я из своего одиночества и в куриные причитания, и в гусиные гоготания, и в пчелиные жужжания, и в воробьиные чирикания, и в ветровые совсем уж безязыкие шумы стал вслушиваться и, может быть, впервые под небесами вдруг различил тонюсенькие, но очень уж беспокойные и настойчивые завербные голоса Сашиных товарищей. Словно бы, пока тут Саша молча томится у ряден с зерном, пока воробьи сторожат ту минуту, в которую он от зерна отвлечется, пока отец копошится то ли опять в чулане, то ли опять во дворе, пока мать собирает в кошелки помидоры, эти голоса, как искры из невесть когда и зачем потревоженного костра над всею землею вдруг взметнулись, да вот же теперь и не могут ни потухнуть, ни каким-то иным спо-

собом достичь для себя того мига, после которого можно успокоиться и утихнуть.

Мать, вернувшись с огорода и заметившая, что я стою, как вкопанный, и впиваясь глазами в далекие, застывшие своею шеренгою половину неба загородные вербы, тоже прислушалась и со вздохом пояснила:

— Это там наши хлопчики, наверно, в лапту или в свой футбол никак же не наиграются...

И в сердце у меня стало нестерпимо пусто оттого, что у меня самого нет повода таким же всполошенным криком от земли оторваться и взвиться под самые небеса.

А тут еще и со двора вдруг пулею улетел мой брат, все-таки отцом досрочно отпущенный на свободу.

Вечером же, пригнавши гомонливых гусей во двор, Саша уже никуда не спешил, был обыкновенным, даже сам подошел ко мне и с привычной, чуточку насмешливой ласковостью спросил: «А хочешь, покажу тебе собаку?» И действительно, его ладонь силуэтом своим стала похожей на собачью голову, и при этом пальцы его раздвигались так, словно собака еще и зевала или лаяла. И не успел я убедиться, что мои пальцы меня не слушаются, растопыриваются невпопад, он опять спросил: «А что у тебя в кармане есть?» В карманах моих большеватых штанов, от брата доставшихся, в три заворота засученных и на помочах подвешенных, всегда было много чего припрятано. И я долго выуживал то, что было менее драгоценно. Нашел, может быть, ржавую гайку, где-то во дворе подобранную. Брат не менее долго тряс ее в своих сомкнутых ладонях, при этом успевал ладони размыкать и почесывать себе то ухо, то ногу, то где-то в боку, а потом вдруг показал мне два кулака и спросил: «А теперь угадай, в какой руке твоя гаечка?» После некоторых размышлений я ткнул пальцем в один из его кулаков. Он разжал кулак, но гайки в его ладони не оказалось. «Ну, а теперь где она?» — нетерпеливо спросил Саша. Я, конечно же, ткнул пальцем в другой его кулак. Но и там было пусто. И не успел я запереживать о потере гайки, он, от удовольствия даже и носом приш-

мыгивая, предложил: «А теперь вот в этом моем кармане пошарь, вдруг эта гайка такая, что сама и невидимо в мой карман запрыгнула!» И сунул мою руку в свой карман, где я свою потерю вдруг обнаружил.

Катя, завидуя моему восхищению Сашей, тоже пыталась меня чем-нибудь удивить. Но придумать ничего не могла. И потому ей оставалось лишь уличать брата в обмане.

Я же с каждым днем все крепче убеждался в том, что за вербами, где брат и его ровесники пасут гусей, одни только чудеса и творятся.

Особенно же меня поражало то, что Саша мог сомкнуть свои губы каким-то особым манером и свистеть ими гораздо ловчее, чем даже настоящим, купленным у ганчурника, свистком. В то время как из моих губ, сколько я ни старался, вылетала вместо свиста сплошная слюна. Иной раз от долгой натуги голова у меня разбалчивалась, но получалось только «сссю, ссю, ссю»...

А когда я затем, стремясь быть похожим на брата, расхаживал по двору или по огороду в рубашке, расстегнутой аж до пупка, тут же кто-нибудь, вроде бы как даже пугаясь своего недогляда за мной, за маленьким Колей, торопился застегнуть меня до самой верхней пуговицы. Но, словно бы полагая, что аж с лужка, аж из-за верб брат и его неведомые мне товарищи меня видят, я опять, как у Саши, пуговицы расстегивал, кулаки, как Саша, в карманы совал, ноги пошире, как Саша, расставлял, мол, не одни хлопцы там на лужке, а и я тут не абы кто и не абы какой.

И сосед Максимыч мне кричал из-за плетня, разделяющего наши дворы:

— Мыкола! Да ты всем Мыколам Мыколище! Ах, какой же паренек у нас уродился, ай, какой же у нас в селе казачок появился!

И я глядел на Максимыча и с благодарной враждебностью, и с ощущением своей торжественнейшей от него и от всех отдельности.

И ночью засыпать мне было уже одиноко. Но мать напоследок после ушедшего дня целовала меня, а отец хоть и скуп, но и с невольной теплотой говорил мне: «Теперь же ты засыпай», и

я, укутанный их голосами, засыпал, одиночества своего уже не замечая, но и понимая, что я уже одинок...

Глава 4.

О том, как я решаюсь за пределы своего рая шагнуть

Да, именно в тот день, когда Саша, отозванный во двор сторожить зерно, столь сильно тосковал о своей, мне пока неведомой завербной жизни, что даже и на меня не обращал внимания, я, помимо привычных куриных кудахтаний, ласточкиных безмятежных чириканий и всякого прочего шума, стал различать в воздухе еще и голоса Сашиних товарищей, тонко да настойчиво с лужка доносящиеся.

Да, что-то под сердцем у меня набухло и вызрело, когда Саша, меня не замечая, не только ушами, а словно бы даже и ноздрями впивался в очень уж ненасытную тревожность далеких завербных криков.

И в последующие дни, подкрадываясь к краю огорода, я отчаивался и содрогался уже не от чужеватости холодных, ветром выстуженных вербных крон, а оттого, что крики Сашиних товарищей, пронзающих мрачноватую вербную шеренгу, были мне непонятными.

Но однажды, покружив возле матери по огороду, я к вербам невольно приблизился и сквозь их заслон прошел, а затем, наверно, не дыша, лишь цепко хватаясь за траву, росшую по краям представшей предо мною глубокой канавы, выбрался и на сам лужок.

На меня обрушилось огромное, воистину бесконечное и мне пока неизвестное пространство, пред которым даже высокие вербы, теперь оказавшиеся за моей спиной, присмирели, и за которым стали видны в совсем уж головокружительной далечине синие, подобные присевшим на землю облакам, наши холмы.

К Сашиним товарищам кружком, кто на корточках, кто по-иному присевшим и игравшим, наверно, «в ножичек», я, понимая все свое ничтоже-

ство, шел медленно.

Но и заметил, что чуть поодаль от их кружка стоят в таких же, как и у меня, штанах на помочах, и в меня глядят мои ровесники.

И я совсем уж оробел.

А все братовы товарищи от игры своей вдруг отвлеклись, тоже стали в меня глядеть.

— О, Сашко, да это ж твой Колька появился! — вскричал кто-то моему брату, и я зашагал в их сторону более осмысленно, все-таки уже как Сашин брат.

И, как всегда и везде, рука невесть откуда взявшейся матери меня подхватила, и я взмыл так высоко, что далекие синие холмы от меня отпрянули.

Но тут и брат из играющего «в ножичек» кружка вынырнул и радостнейше вскричал:

— Да ты, мамо, не бойся, пусть с малышнею он тута побудет, а я его простерегу!

И мать, подчиняясь радости его голоса, не просто покорнейше опустила меня на лужок, нет, она поставила меня на мои босые ноги в мягенькую, гладко стриженную гусями траву с такой же обреченностью, с какой, наверно, яблоня перед морозами роняет на землю свое самое последнее яблоко.

Сашины товарищи сразу продолжили свою игру, а такие же, как и я, со штанами на помочах, ребята стали ко мне приближаться, стали меня окружать и ко мне примериваться.

А я, оглохнув от простора или непонятно от чего, ног под собой не чувствовал.

То есть никаких мыслей в моей голове не появилось, ничего я не понял из нового своего положения и ни о чем не задумался.

Я просто стал на своих ровесников глядеть из последних сил, уже готовый увидеть все, что мне, если уж на то пошло, было суждено в них увидеть.

Или, может быть, я тогда от волнения не различил ни зеленого лужка, ни наших широченных, за лужком, полей, ни наших далеких и прозрачных, с небом сливающихся холмов, ни вот этих своих погодков. Может быть, я всего лишь с опаской ухватился за подол своей матери; может быть, затем она сама меня подтолкнула к ребятне, мол, иди уж.



Архив Николая Дорошенко

С сестрой Ниной и племянником Колей. 1962 г.

Может быть, это потом, во все следующие дни, я наконец-то разглядел и уже на всю жизнь запомнил наши загородные, наши завербные просторы, а тогда я, может быть, сквозь мглу самого великого в своей жизни волнения даже и лиц своих будущих товарищей не мог различить.

Но именно так, а не как-то иначе, началась та моя новая и уже вольная жизнь, в которой я помню себя среди своих вдруг обретенных товарищей то в обмороке безмятежнейшего с ними единения, то в самых трагических противостояниях с ними и, наверно, похожим на муравья, упрямо шевелящего всеми своими лапками ради каких-то своих уже одиноких, уже никому, в том числе и самому ему, муравью, неведомых смыслов, объятого одним только слепым и жадным азартом к жизни такой, какая она есть на самом деле. ■



Архив Николая Дорошенко

В больнице у Леонида Леонова. 1994 г.



Архив Николая Дорошенко

С В. Распутиным и В. Ганичевым в 100-летие Транссиба. 2002 г.



Архив Николая Дорошенко

С поэтом Н. Зиновьевым.

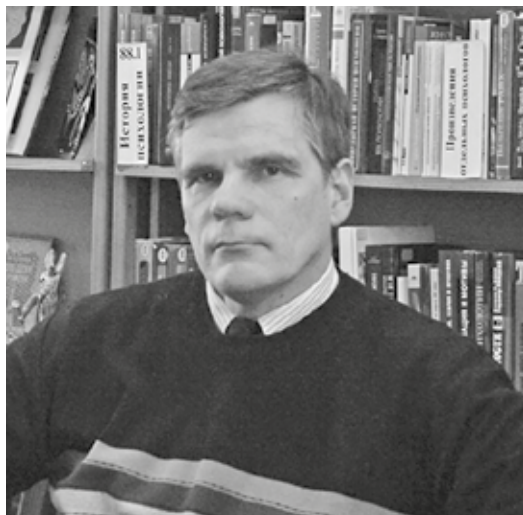


С М. П. Лобановым. 2004 г.



Архив Николая Дорошенко

А жизнь продолжается. Внук Саша уже примерил дедов пиджак.



Архив Николая Устюжанина

НИКОЛАЙ УСТЮЖАНИН

Родился в 1961 году в Великом Устюге. Литературовед, писатель, публицист, литературный критик, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова и Всероссийской православной литературной премии им. Святого благоверного князя Александра Невского. Живёт в Краснодаре.

МОРЕ ЖИВОЕ

Когда смотришь на море, поневоле задумываешься о жизни — текучей и спокойной, пасмурной и штормовой, но такой короткой...

Первая встреча с Черным морем запоминается навсегда. Как только состав, дернувшись, трогается и, позвякивая на рельсах, начинает поворот от станции Туапсе, дети и взрослые занимают места «по правому борту» и впиваются глазами в приближающуюся полосу водного пространства, загороженную нефтяными трубами. Еще несколько десятков метров вдоль металлической сетки — и вот оно появилось наконец! Сначала видны камни причала, омываемые пеной прибоя, потом разные танкеры, ожидаемо большие и почему-то маленькие, но детские восторженные глаза устремлены к самому главному — к горизонту, за которым... ничего нет, кроме неба!

Этому голубому сиянию большого и доброго пространства можно довериться сразу, ведь там открывается мир необъятного счастья. Там бесконечность. И кто-нибудь из детворы обязательно воскликнет: «Оно живое!»

Как только устроились в гостинице или гостевом доме — чуть ли не бегом на пляж! И сердце стучит радостно, и душа поет, и тело жаждет объятий с голубой прохладой. Здравствуй, море!

Пляж шумный не только от плеска волн и ребячьих криков: снуют катера, тянущие за собой на парашютах и ватрушках отдыхающих, продавцы зазывают отведать сахарную вату, вареную кукурузу и «домашнее» вино, гремит музыка из столовок и прибрежных ресторанов. И разговоры, разговоры...

Курортные романы, если они честные и чистые, обычно очень крепкие. Что бы ни случилось, есть воспоминание о счастливой встрече. И глаза веселые, и души свободные и легкие, и тела такие молодые, загорелые, стройные... А не махнуть ли нам, как тогда, на юг?!

Галечный пляж некоторым фифам не нравится

— жестко и ступням больно. Тогда в путь к песчаному откосу, есть и такие места.

Но сами по себе камни, булыжники и особенно камешки рассыпаны будто специально так, что хочется их собрать в горки, выстелить ими тропинки от воды до жаркого лежбища, разобрать на коллекции... Тут и разноцветные стеклышки, отполированные волнами, и розово-коричневые осколки раковин, и реже — монеты, цепочки и даже кольца, оставленные морю на память или по рассеянности.

Если тянет поохотиться, можно надеть маску с трубкой и нырнуть подальше от людского бултыхания в самое интересное и загадочное морское подполье.

Когда плывешь под водой и смотришь на дно, то вначале быстро исчезает гряда прибрежных грязных камней и появляется песчаная отмель с редкими булыжниками и мелкими барханными морщинами, в которых, если приглядеться, схоронились в засаде придонные рыбешки, только бугорки глаз и видны. А вот ближе к бую неожиданно открывается вид настоящего дна с крупными, наваленными друг на друга каменюками. Здесь и начинается особенная охота на жирных крабов и многолетние раковины рапанов, которые не сравнимы с мелочью, оставшейся для игр пляжных детей и инфантильных взрослых.

Хватит ли воздуха, ведь глубина тут основательная? На помощь приходит сам организм, вырабатывающий при движении кислород в мышцах.

Для одиночек это просто развлечение, а для местных — доход. Они ныряют до посинения, а под вечер выгружают из лодок в сетках гирлянды пузатых раковин. Их вываривают на воздухе, чтобы не дышать вонью, длинным гвоздем вытаскивают моллюсков, похожих на пружинки, чистят и лакируют дары моря, а потом сидят у входа на пляж и торгуют, пока не кончатся улов.

А вообще, Черное море неоглядное и неуловимое. Оно входит в душу не только синевой, блиста-

ющей под ярким солнцем, оно бывает изумрудным или ярко-зеленым в умиротворении, а может взволноваться в белогривом беспокойстве и даже стать лохматым и желто-серым в штормовом круговороте. Буйное разгневанное море невозможно остановить.

Самое нежное море летом — ночное. Тишину и покой можно принять за сон, но оно никогда не спит. Если нет облачной завесы, играет звездами — попробуй разберись, где тут небо, а где море? Счастливым парочкам так удобно целоваться на медленно остывающем пляже — никому ничего не разглядеть! Но море все видит и покрывает влюбленных ласковым дыханием...

А бывает оно и грозным, и безжалостным. Ломает пополам танкеры, выбрасывает на берег сорван-

ные с якорей суда, пускает на дно целые эскадры, рушит набережные и даже порты. А кто-то до сих пор называет Черное море лужей...

Корабли, суда, причалы... Ах, если бы все это длилось вечно!

Сейчас уже нет времени ожидания, оно закончилось. Но, как и тогда, на заре, теперь уже вечерний свет заката вновь осеняет нас.

И никому не надо страшиться — ведь там, за горизонтом, ждет иная жизнь, именно такая, какой ее видишь в детских мечтах! И когда ударит колокол, надо шагнуть ей навстречу, оставив позади сомнения и боль.

Только бы не обернуться... Только бы не обернуться... ■

МИР ПРЕКРАСЕН

Самойлов и представить не мог, как неожиданно явится старость. Вроде еще недавно прыгал через ступеньки лестниц, как вдруг ему уже уступают место, называют дедушкой. В глубине души он считал себя еще крепким, а вот как все вышло...

Жил он один, как раньше бы сказали, бирюком, но не по собственному желанию — так получилось, что дети и внуки разъехались, близкие стали дальними, словно где-то было приказано оставить его один на один с приближающимся уходом.

И тогда Самойлов стал думать, чем же заняться ему, пенсионеру, на сплошном досуге. Разобрать архив, фотографии, письма, а что дальше?

Он вышел из дома, присел на теплые доски открытой веранды и стал смотреть на вечернее небо.

Середина июля, венец лета... Тусклые огоньки далеких соседних поселков, затерявшихся на склонах, постепенно разгорались под сенью засыпающей небесной выси, на фиолетовом своде которой стали появляться самые яркие звезды.

В горах они ближе и яснее, и Самойлов стал различать контуры Большой и Малой медведиц, созвез-

дия Скорпиона, Девы, свечение Полярной звезды, а в резко наступившей темноте и красную точку особенно любимого в детстве Марса.

Начало его жизни совпало с утром космической эры. Спутник, полет Гагарина, выход Леонова в невиданную прежде пустоту... Царила всеобщая эйфория, казалось, что еще чуть-чуть, через два-три года, мы ступим на Луну, а потом окажемся и на Красной планете, ракета для полета на Марс уже проектировалась.

В быту серьезность намерений проявлялась особенно страстно: речные и морские суда на подводных крыльях называли ракетами и кометами, на баках ижевских мотоциклов красовались изображения Сатурна и Юпитера, даже игрушки для младенцев, в просторечии «пупсики», выпускались в скафандрах.

Но потом все резко оборвалось. В 1966-м погиб Королев, в 1967-м — Комаров, в 1968-м — Гагарин, а в 1969-м американцы высадились на Луне.

Самойлов стал припоминать уроки астрономии, но, кроме электрической модели солнечной системы в виде планет на тонких металлических ножках, с

тихим жужжанием с разной скоростью двигавшихся вокруг «желтого карлика», ничего упомянуть не смог.

Он, конечно, читал, как и все сверстники, фантастические романы Алексея Толстого, Беляева, Казанцева, Ефремова, Брэдбери, Лема, Азимова, смотрел художественные фильмы... «Планета бурь», «Туманность Андромеды», «Москва-Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Петля Ориона», «Солярис», «Большое космическое путешествие». А еще он наблюдал через закопченное стекло солнечное затмение, разглядывал кратеры на Луне, сжимая слабыми детскими ручками тяжелый отцовский бинокль... Но все это была игра. С тех пор, конечно, многое изменилось.

Самойлов поднялся, включил в кабинете компьютер и погрузился в интернет, в котором, как известно, есть все. Даже реклама...

Его поразили яркие цветные фотографии и видеосъемки планет, двигавшихся по орбитам вокруг Солнца. Полет космических зондов и телескопов превратился в изумительный фильм-путешествие!

Вот крутится скоростной Меркурий, затем туманная Венера, наша родная Земля, почти пригодный для жизни рыжий Марс, гигант Юпитер, подмигивающий нам красным глазом, Сатурн с ледяными кольцами и причудливыми спутниками, удивительный голубой Уран, холодный и ветреный Нептун. На соседских планетах есть вулканы, моря, океаны, нет только жизни. А еще в нашей системе летают планеты-карлики, например, Церера, затаившаяся между Марсом и Юпитером, на ней льда больше, чем на Земле, есть даже водяной пар. Исследованы кометы и астероиды, к ним прицеплялись приборы, желающие узнать, из какой материи они состоят. Трудно поверить, но некоторые из этих небесных тел — чистые алмазы и сапфиры гигантских карат, покрытые пылью.

Тайны солнечной системы не дадут уснуть астрономам, заваленным работой познания на десятилетия вперед, а ведь вокруг еще галактики, похожие на чудесные фантастические цветы, сказочные скопления звезд.

Самойлов вспотел, силясь представить невероятное количество светил, триллионы галактик, непреодолимое пространство между ними во Все-

ленной, возраст которой — почти четырнадцать миллиардов лет!

«Это астрономия, — размышлял он, — осмыслением же мира сущего: как из ничего произошло все? — занимается космология». И вот тут, листая на экране страницы с обобщениями и выводами, он столкнулся с парадоксом. Оказалось, что самый любимый термин у всех, кто связан с космосом, — «гипотеза», то есть всего лишь предположение. Гипотеза Эйнштейна, гипотеза Хаббла, гипотеза... Далее был список величиной в несколько томов.

Он стал изучать биографии астрономов и космологов и удивился — вопрос о происхождении всего и вся рассорил ученых. «Это не к нам! — в отчаянии умоляли они, это к философам». А философы отсылали пытливых и настырных читателей к религии.

Самойлов выключил компьютер, встал, потирая затекшие мышцы и, чуть прихрамывая, выбрался на свежий воздух.

Уже была глубокая ночь. Он взглянул на Млечный путь, протянувшийся туманной полосой до самого края неба в ослепительном сиянии бесчисленных звезд, и ощутил тяжелый стыд. Как же так получилось, что почти всю жизнь он смотрел под ноги? Карьера, дом, машина, гараж, дача, деньги, деньги... Десятилетия исчезли в погоне за призрачным счастьем, был потерян высший смысл бытия.

«Нет, — думал он, — небесное царство живет не только в сплетении галактик. Если бы не научный поиск, запечатлевший этот блистающий мир, если бы не наша память, уходящая в вечность и соприкасающаяся с ней, то что бы значили все эти скопления газа, камня и пыли? Потому как царство, почему-то названное небесным, находится не на небе. Оно живет внутри нас».

Вселенная раскрылась перед Самойловым во всей полноте и неизъяснимой красоте. Чудесная музыка, которую он однажды услышал в детском цветном сне и, проснувшись, страшно огорчился, не сумев ее воспроизвести, вдруг вернулась к нему сейчас, в этот радостный миг. Чувство счастья разлилось в душе, словно весенняя вода. Теперь ему было не страшно оставлять этот мир, потому что покинуть бесконечность в себе самом невозможно. ■



Архив Дмитрия Чуркина

ДМИТРИЙ ЧУРКИН

Родился в 1979 году в городе Коммунарске Ворошиловградской области УССР. В 2002 году с отличием окончил Донецкий государственный медицинский университет. Писатель, военный врач, доктор медицинских наук.

С апреля 2014-го участник Русской Весны в составе Первого медицинского отряда ДНР. С июня 2015 года по настоящее время на военной службе. Публиковался в журналах «Наш современник» и «Родная Кубань». Живёт в Донецке.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Рассказ

Наступил канун нового две тысячи пятнадцатого года. Еще за неделю до него, с пятницы, в отделениях до хрипоты спорили, кто будет дежурить на праздник.

По старой медицинской примете считается, что сложно дежурить первого января, когда, придя в себя и стряхнув пелену праздничного угара, народ начинает осаждать дежурные отделения и санпропускники больниц. Дежурство тридцать первого декабря обычно проходит гладко, оставляя смене возможность отпраздновать в свое удовольствие.

Бывает, что дежурство стараются провести с юмором. В маленькой районной больнице, где я много лет назад впервые встречал Новый год еще врачом-интерном, после боя курантов старший хирург, огромный, весь заросший густым волосом, с вечной щетиной, нарядился Снегурочкой, а низенький шуплый анестезиолог превратился в Деда Мороза. Они так и ходили по отделениям, развлекали персонал и больных. Оба были при этом абсолютно трезвыми — праздник праздником, а к работе нужно быть готовым.

В этом году в госпитале все казалось нерасполагающим к праздничной расслабленности. Весь мой предыдущий, пусть и небольшой, опыт показывал, что каждый праздник враги старались сделать городу побольнее, а потому неслись на праздники с сиренами скорые, везли к нам фельдшеры и санитарные инструкторы раненых и контуженных.

В результате всех немислимых торгов, гаданий, переделов графика, обещаний быть на телефоне и приехать по первому требованию («условный сигнал — три зеленых свистка») на новогоднем дежурстве в госпитале остались: я, как заведующий приемно-сортировочным отде-

лением («хранитель врат госпиталя», как в шутку называл меня наш главный хирург Андрей Валерьевич, он же «Дядя Миша»), старшая медсестра нашего отделения Анна Васильевна, которая разрешает мне звать ее просто Анечкой, Света, интерн-анестезиолог, такой же интерн-хирург Рома и приехавший к нам в свой отпуск из Перми Саша, как и я, оториноларинголог, проще говоря, ЛОР.

В обед, когда все старшие и, несомненно, более опытные коллеги разъехались по домам в зачетно предпраздничном настроении — целых два дня выходных впереди! — я со всем возможным оптимизмом оглядел свою команду.

— Значит, поступим так, если, повторяю, если к нам все же начнут везти, Анечка вызывает хирургов и анестезиологов, я и Света разворачиваем противошоковую, Саша и Рома работают в перевязочной. Всем все ясно?

— А почему в перевязочной-то? У меня это, первая категория, — мягко, певуче и совсем не по-здешнему, даже не спрашивает, а как бы укоряет меня Саша.

— А потому, что первая категория у тебя ЛОР, а не хирургия, травма или неотложные состояния. И огнестрельные ранения, особенно минно-взрывная травма, это тебе не миндалины удалять, — начал я резко, потом, выдохнув, посмотрел на коллег.

— Поймите, наша задача — дотянуть раненого в стабильном состоянии до прибытия основного состава. Кровь остановили, с шоком справились, обезболили, профилактику раневой инфекции с помощью антибактериальных препаратов провели и ждем. В военной медицине это называется первая врачебная помощь.

— Так ее ведь в медицинских ротах, в медицин-

ских пунктах, в автоперевязочных оказывают. А здесь ведь госпиталь, мы сразу специализированную помощь оказывать должны, — попытался возразить Рома.

— Вот именно, что «должны». Но когда есть такая возможность, когда раненый стабилен, есть необходимые силы и средства. Друзья мои, я всех вас понимаю, руки чешутся. И все-таки наша задача — день простоять и ночь продержаться. Без санитарных и, тьфу-тьфу, безвозвратных потерь.

Коллеги смотрели на меня, пригорюнившись. Понятно, попал я в самое больное место. Каждый из нас уже в интернатуре мнит себя готовым ко всему, но со временем и набитыми на трагических ошибках шишками это проходит, появляется принцип командной работы, когда один за всех и вместе мы хоть Пушкина спасем, хоть Дантеса до смерти залечим.

— Знаю, как вы меня сейчас в душе костерите, нашелся, мол, такой умник, всего боится, зачем только сам дежурить остался. Потому и остался, чтоб другие спокойно отдохнуть могли. И если мы с вами справимся, а мы справимся, — я посмотрел в глаза каждому из сидящих напротив меня, — если мы дотянем каждого раненого до приезда старших, а значит, и более опытных коллег, наша задача выполнена. Мы справились, а это главное.

В глазах собравшихся продолжали сквозить то ли обида, то ли непонимание. Я решил объяснить свою позицию на примере.

— Когда-то, вот так же на дежурстве, когда я был интерном, мне привезли отрезанное ухо. Вместе с его хозяином, естественно. Я тогда смелой воды напился, взял и пришил его ровно да красиво. Слуховой проход затампонировал, повязкой заклеил и домой отпустил. Через два дня, когда пациент вернулся, это ухо у него висело, как у собаки, потому что, как оказалось, нужно было специальную повязку накладывать. Заведующий меня тогда спас, объяснил, что случай, мол, сложный, главное, что ухо прижилось. Так это ухо, а здесь все куда серьезнее.

— А ты что, про повязку не знал? — удивленно

спросил Саша.

— Не знал. Ко мне же не каждый день на дежурство поножовщину привозили, а спросить не у кого было. В санпропускнике с медсестрой травматолога шили.

Все стали хихикать, представляя себе похожего на Бобика пациента. Я же с теплом вспомнил своего первого заведующего, Евгения Ивановича, который сейчас остался один ЛОР на весь большой Харцызск и все равно каждый день, несмотря на повышенные давление и сахар, продолжает проводить прием, оперировать и даже консультировать тех, кто сам в силу возраста и болезни прийти к нему уже не может.

Обстановка понемногу разрядилась. Саша начал рассказывать, как к ним в окружную больницу охотников нерадивых привозят, Света вспомнила истории из своей практики фельдшера скорой, Рома, который мечтал стать фронтовым хирургом, увлеченно пересказывал услышанные от начмедов истории, и только мудрая Анечка громко спросила:

— А праздновать как будем?

В воздухе повисла напряженная тишина. Все снова в упор посмотрели на меня, а я посмотрел на коллег, выдохнул и опустил голову.

— Я своих к родителям в ЗугрЭС под Харцызск отправил, потому что накануне много с кем говорил. У всех полная боевая, народ по частям сидит трезвый и в готовности. Все ждут, что поздравят нас враги наши, что прилетит не пойми куда и сколько. А главное, непонятно, куда они добить смогут, сами помните, что на прошлые праздники случилось. В общем, нет у меня праздничного настроения. Вы без меня празднуйте, лучше в приемной, а я здесь, внизу, посижу.

Когда я поднял глаза, оказалось, что все смотрели на меня с пониманием.

— Так ты, заведующий, потому и дежурить вызвался, что дома на Новый год одному с тоски завять можно? — Анечка взяла меня за рукав.

Я молча кивнул. Раньше Новый год мы всегда встречали семьей. Сейчас приехать и поместиться вчетвером в маленькую двухкомнатную квар-

тиру родителей, в которой я вырос, было совсем невероятно. Да и случись что, в госпиталь я бы точно никак не успел.

— Ладно, расходимся. Обход вечерний на семнадцать ноль-ноль, дальше видно будет.

Мы с Анечкой остались в кабинете, коллеги мои отправились в ординаторскую хирургического отделения.

— А твоим там хоть есть чем праздновать? — Аня смотрела в стол и старалась говорить как-то особенно бережно.

— Нам тетя моя из Москвы посылку передала. Там много всего как раз к празднику, да и мои с собой какие-никакие, а праздничные припасы взяли. Да и опять же, главное в любом празднике — настроение.

Анечка стала вырезать из старых пленок ЭКГ причудливые нити снежинок. Из отработанных графиков и суточных рапортов горячей летней поры она вырезала фигурки снеговиков и балерин, чтобы развесить их на нитках в коридоре. Год закончился, все нужные бумаги давно в архиве, а остальное можно и на украшения пустить.

В коридоре раздался стук костылей и цоканье шагов. Именно цоканье, от чего складывалось невероятное ощущение того, что кто-то на каблуках шел с костылями.

— Ратник идет, — кивнула мне Анечка.

Ратника привезли к нам совсем недавно. Его выменяли из плена, где он провел три долгих месяца, сидя в вырытой в земле яме размером с могилу. Во время допросов ему переломали почти все кости на ступнях, поэтому сейчас он в гипсовой до колена повязке, в «сапожке». Несмотря на все, что пришлось пережить, он сохранил и щедро расточает вокруг себя такое благодушие и уверенность в лучшем, что раненые к нему тянутся. Доброе слово у него есть для всех.

— Здравия желаю, — по-военному начал он, обращаясь, скорее, к Анечке.

— И вам не болеть, — я рад ему, у него всегда в запасе есть несколько невероятных историй.

— Чаю хотите? С вареньем абрикосовым?

— Конечно хочу! Балуете вы меня, Анна Васи-

льевна, то есть Анечка, — вовремя успел исправиться Ратник.

— А вы что такой грустный? — это уже ко мне.

— Помните, как в старом фильме: «Скажут потом, что нас было четверо».

Ратник непонимающе смотрит на меня.

— Дежурство сегодня сложное, поздравлений и приветов от врага ждать приходится, а со мной Анечка — в ней я уверен больше, чем в себе, — два интерна и ЛОР, да и я совсем не хирург и точно не реаниматолог. Пока народ соберется — минимум час времени и то, если повезет. Как-то так получается...

Ратник, блаженно жмурясь от Анечкиного варенья и отхлебнув чая, блеснул стеклами очков.

— Вот зря вы так. В молодых верить нужно, они в критической ситуации, особенно в безвыходной, такие чудеса сотворить могут. Вот, например, когда я только поступил на службу в милицию совсем молодым лейтенантом случилось у нас ЧП. Заступил я дежурным по РОВД. Вечер, все хорошо, сижу и чай пью, тоже с вареньем, как вдруг влетает женщина и зовет на помощь — в парке какой-то мужик девушку убивает. Ну, я без раздумий из дежурки вылетаю, парк рядом прямо перед РОВД и вижу — лежит девушка почти без признаков жизни, а над ней мужик, да что мужик, мужичище нависает, в руке кусок доски. А я, как назло, оружие в дежурке забыл. Понимаю, что у меня всего на один удар шансов, подлетаю к нему и как врежу, прямо в затылок. Он и рухнул, как подкошенный. Тут помощник мой подбегает, кричит: «Ты же его вещдоком вырубил». Смотрю — и правда, на мне кастет, который по трем делам вещественным доказательством проходил. Я его случайно из стола взял, а он мне как раз и пригодился.

— А чем все закончилось? — Анечка с интересом слушала Ратника и подкладывала ему в блюдце варенье.

— Чем закончилось? — Ратник смотрел на Анечку с благоговением. — Девушка выздоровела, обошлось, слава Богу. Мужика этого за тяжкие телесные с отягчающими на семь лет усади-

ли, он такое и раньше проделывал.

— Сейчас он, наверное, все так же людей избивает, только уже безнаказанно, — вспомнился мне рассказ одного из наших раненых про пленных из «Азова», «Торнадо» и подобных им батальонов.

— Заведующий, сиди тихо, не мешай гостю чай пить, и вообще, тебе на обход пора, — Анечка показала мне на часы.

Обход прошел быстро, раненых было немного, в госпитале оставили только тяжелых и тех, кому совсем идти было некуда. Еще раз подбодрив коллег, уверив, что точно со всем справимся, хотя уверял, скорее, себя, я спустился вниз.

В кабинете меня ждала Дед Мороз — именно так, ждала, — добродушная женщина-волонтер, которая привезла раненым незатейливые подарки и письма от детей. С Анечкой они отправились по этажам, а прибывший на смену дежурный водитель реанимобиля, посапывая, нес следом большущую коробку.

Ратник остался со мной. Я стал обзванивать дежурные отделения расположенной рядом с нами многопрофильной больницы, узнавать наличие свободных мест и, что более важно, фамилии и контакты дежурных врачей. Когда счет чьей-то жизни идет на минуты, иметь в запасе несколько резервных вариантов критично необходимо.

Я успел поговорить только с нейрохирургами, когда в кабинет ко мне ввалился Медведь. Формально им и его пневмонией занимаются наши терапевты, а я лечу сопутствующий гайморит. Семья Медведя далеко отсюда, и идти праздновать ему некуда, да и не к кому. Сам он в прошлом шахтер и уже вышел на пенсию, и даже дачу, мечту всей жизни, почти достроил, когда началась война. Он минометчик, точнее, заряжающий 82-миллиметрового миномета. Задача его — точно, одну за другой, без спешки закладывать мины, которые орудие с надрывным кашлем и пламенем исторгнет из своего жерла. Сейчас с нашей стороны минометы молчат, стреляют лишь на полигоне и то иногда, поэтому мино-

метчиков, как обычную пехоту, разместили на линии соприкосновения, где Медведя и нашла болезнь.

Медведь, словно оправдывая свой позывной, дышал и сопел так, словно прибежал ко мне из лесной чащи. У шахтеров дыхание специфическое, шумное, с протяжным выдохом. За годы работы под землей угольная пыль, острая, как наждачная бумага, шлифует бронхи и оседает в легких.

— Ну, ты же нормальный мужик, у тебя ведь тоже дети есть, ты меня понять должен, — твердо начал он, потом махнул рукой, — выписывай меня, короче.

— Не могу сегодня, не имею права. Выписка только за подписью лечащего врача и заведующего отделением, то есть или сегодня до двенадцати дня, или второго января после девяти утра. Да и что случилось? Вы ведь не торопились никуда.

— Вот, читай, сам все поймешь, не каменный ведь.

Он дал мне в руки разворот ученической тетрадки в клеточку. На первой странице неровным детским почерком было написано: «Открытка для бойца, от Насти...», фамилию я толком разобрать не смог. На следующей странице была старательно нарисована елка, украшенная флажками, сверкающими шарами и хлопушками. На третьей странице шел текст. Я стал вчитываться сперва спокойно, потом буквы стали плыть перед моими глазами.

«Дорогой боец, я знаю, что мое письмо привезут к тебе в госпиталь, поэтому прошу тебя, выздоравливай, пожалуйста, скорее. Меня зовут Настя. Я учусь уже во втором классе. Мой папа тоже воюет. С ним все хорошо, но его не отпустят к нам на праздник.

Мы живем на Грабарях. Днем у нас почти всегда тихо, а вечером и ночью по нам стреляют. Мы с мамой и братом Лешей (ему почти четыре года) прячемся в подвал. Там тепло, и там наши соседи. Наверное, там же встретим Новый год, зато все вместе. Тебе там холодно? В окопах, папа говорит, им костер разжигать и греться не

разрешают, чтобы враг не увидел. Поэтому я для тебя шарфик связала, надеюсь, что он тебе понравится и будет тебя согревать.

Еще раз скорейшего тебе выздоровления и радостного, спокойного и веселого праздника. Я тобой горжусь и желаю тебе только Победы. Я верю, что она обязательно наступит и ты ее встретишь».

Закусив до крови щеку, я вдруг почувствовал волну нестерпимого жгучего стыда перед этой девочкой. Она там, под постоянным ночным кошмаром спокойно смотрит в будущее и живет, наверняка помогает маме с братом, пишет письма. А я тут совсем раскис, распустил, непонятно что. Справимся — не справимся, начнется — не начнется, успеют — не успеют. С какого, спрашивается, я себе такое позволяю? Нужно терпеть и верить. По вере нашей и нам дано будет.

— Ну, понимаешь теперь, почему мне отсюда уйти нужно? — Медведь вопросительно смотрел на меня.

— Не совсем, — решил я прикинуться дураком, им, говорят, везет.

— Что тут неясного? Ты меня выписываешь, я еду к парням, они сейчас от Грабарей недалеко, мы берем два ящика мин, двадцать штук, и как поздравим их позицию. Я примерно знаю, где она, оттуда точно ничего до самого Крещения не прилетит.

— Нет, — я твердо смотрел ему в глаза, — так нельзя.

— А как можно? — шипел на меня он, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. — Сидеть тихо, как пустые банки в тире? Ждать, пока они отработают, потом передать количество прилетов и двести-триста?

— Ладно, давай по-твоему, — я чувствовал, как во мне разгорается злость, связанная с нашим нынешним бессилием ответить на удар ударом и мучительной необходимостью выдерживать ежедневное перемирие с посиделками в подвалах, если повезет добежать. — Приехал ты к себе, допустим, тебя даже просто так на позицию пустили. А миномет и мины ты с опечатанно-

го склада РАВ утащишь? А перед этим часового обезоружаешь и связываешь? И сколько мин тебе дадут выстрелить, пока не полетит ответка? Десять, пять? Или тебя с нашей соседней позиции придут и повяжут? А потом что? Трибунал? И другое главное: покошмаришь ты одну позицию, они с других город накроют и Грабари эти злосчастные тоже, под танцы с бубном и совой от «уважаемых международных наблюдателей». Ты этого хочешь? Думаешь, Настя, которая тебе письмо это написала, обрадуется?

— А разрешите на шарфик посмотреть? — вежливо попытался разрядить обстановку Ратник.

— Да погоди ты, — отмахнулся от него Медведь. — Ты, может, и правильно говоришь, не подкапываешься, только ты мне скажи, — он уже почти ревел в мою сторону, — тебе самому не тошно от этого? Жить, по рукам и ногам связанным? Смотреть на все и сидеть на жопе ровно? Еще три месяца назад мы бы их так раскошмарили, что они чихнуть невовремя боялись бы. А теперь сидим, как крысы, и ладно бы в норах, а то на виду. Я так не могу, понимаешь? Ответ должен быть, ответ!

Я понимал, что лучше мне сейчас промолчать, к тому же я был согласен с ним, как никто. Каждый день и каждую ночь этого перемирия в госпиталь везли новых раненых и били по нам с каждым днем точнее и прицельнее, и площадки на кладбищах, отведенные для захоронения погибших, разрастались все больше и больше.

Медведь, кажется, и сам понял безнадежность своей затеи, время ополчения Донбасса навсегда ушло, пришло время Народной милиции Донецкой Народной Республики. Тяжело выдохнув, он присел рядом с Ратником и, распахнув бушлат, показал пришитый изнутри к воротнику узенький шарфик из трех полос — черной, красной и синей.

— Как по мне, очень хороший подарок, — Ратник аккуратно провел по шарфику пальцами, — шерсть, и работа качественная, старалась Настя. Ты бы лучше, чем кричать, сам бы ей письмо написал и подарок приложил. Дед Мороз пока тут ходит, она ей и передаст.

— Не сумею я так ровно и красиво написать, — простодушно признался Медведь.

— А ты, как есть, напиши, — настаивал Ратник. — В письме что главное? Правда, искренность твоя! Ну и вежливость, конечно. Настя это точно поймет и оценит. Дайте ему, пожалуйста, ручку и бумагу, — это уже ко мне.

Я выдал Медведю ручку, лист бумаги и трафарет-зебру. Медведь смотрел то в потолок, то в пол, потом стал смотреть в окно, и на бумаге стали появляться слова.

— Тут на остановке магазин есть, сходи, будь другом, купи ей конфет, «Белочку», Ратник не дойдет, а я дописать не успею. — Медведь протянул мне пятидесятигривневую купюру с затеявшим уже как сто лет назад кровавую прелюдию к текущим событиям бородатым Грушевским.

Надеваю поверх халата бушлат и торопливо иду на остановку. Кружащиеся в свете фонарей снежинки заставляют вспомнить о скоротечности и иллюзорности происходящего. Внезапно и непредсказуемо в городе моем, также как и эти снежинки, все новые и новые люди один за другим сперва падают на землю, а потом и вовсе оказываются в ней.

Красиво прикрепив к конфетам письмо (Дед Мороз пообещала, что успеет отдать подарок сегодня), мы выбрались на крыльцо.

— А что хоть написал-то? Если не секрет, конечно, — я, закулив, пустил струю дыма в свет фонаря, отчего снежинки оказались как бы в тумане.

— Да какой секрет, так и написал, что жалко мне, что она в подвале сидит, да только врага она не боится и тоске не поддается, маме помогает, а потому она тоже боец и я ею горжусь, и всем им желаю здоровья и папку невредимым дома встретить.

— Неужели так и написал? — не поверил я.

— А то! Как Ратник сказал, так и сделал. Пусть без вывертов разных, зато от души, как есть написал.

Докулив, мы вернулись назад. Я молча достал из рюкзака банку паштета и банку шпрот — лю-

бимые лакомства моего детства, переданные мне подарком из Москвы тетей.

— Аня, собирай на стол, неси запасы! Новый год праздновать будем. И вы оставайтесь, пожалуйста, — кивнул я Ратнику и Медведю.

— К столу и с пустыми руками! Ну нет, я в магазин и назад, — Медведь бодро зашагал к выходу.

— Я в доле, — еле успел прокричать Ратник.

— Да и ребятам позвони, нечего им там сидеть, пусть сюда спускаются.

— Заведующий, а ты чего вдруг праздновать надумал-то? — Анечка смотрела на меня, не переставая делать бутерброды.

— Да я как-то понял, точнее, помогли мне понять, что, если в подвалах, сидя вместе с детьми, верят, что мы справимся, что нужен и нам этот праздник, что не напрасно мы сейчас молчим и терпим, значит, все так и есть. Справимся мы со всем и сейчас, и потом тоже справимся, потому что вместе мы, Анечка, понимаешь? Вместе праздновать будем и с теми, кто в окопах мерзнет, и с теми, кто в подвалах сидит, и так же потом и Победу отпразднуем. И вывезем все и всех вывезем, потому что вместе...

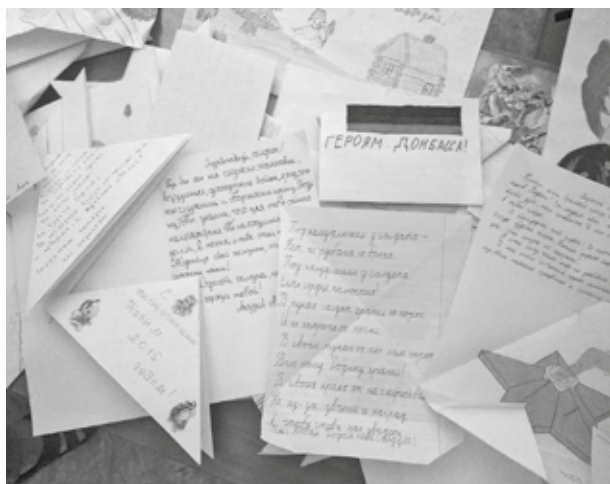
После выздоровления Ратник стал замполитом одного из батальонов и с честью воюет до сих пор.

Катя и Рома поженились, они вместе работают и растят замечательную дочку.

Саша вернулся в Пермь, с вокзала приехал и сделал предложение любимой девушке, он счастливый муж и отец троих детей.

Медведь после выписки вернулся к службе. Во время боев за Дебальцево он кочевал со своим минометом, удерживая в огневой блокаде одну из дорог, по которой враг пытался провозить боеприпасы. Их искали, и когда на их позицию выскочил танк, все закончилось в один миг, его опознали по узенькому шарфику, пришитому к воротнику бушлата.

У нас с Анечкой впереди был тяжелый год, но это уже совсем другой рассказ, а тогда мы, как и положено в новогоднюю ночь, загадывали желания и верили, что они сбудутся. ■



vk.com



Владимир Аносов/«РГ»



Владимир Аносов/«РГ»



Владимир Аносов/«РГ»



Владимир Аносов/«РГ»



Владимир Аносов/«РГ»

ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ, Г. ДОНЕЦК, ДНР.

НА СТЫКЕ ЖАНРОВ





ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

(Отрывок)

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тифлис. Народные бани. Безносый Гассан. Нравы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня. Гергеры. Грибоедов. Безобдал. Минеральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья. Выезд из Карса. Лагерь графа Паскевича.

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлиссские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе не одетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем, — сказал мне хозяин, — сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». — «Конечно, не беда, — отвечал я ему, — напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею чадрой; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение Т. Мура:



*A lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshen'd glow
Of her own country maiden's looks,
When warm they rise from Teflis' brooks.
Lalla Rookh [1].*

Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Персиянин ввел меня в бани: горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлиссских бань. Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, выпягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, *е sempre bene* [2]). После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знайки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря Гассан отпустил меня в ванну; тем и кончилась церемония.

В Тифлисе надеялся я найти Раевского, но, узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию.

В Тифлисе пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом. Санковский, издатель «Тифлиссских ведомостей», рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность.

Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20 000 жителей увести в плен (1795 год). Грузия перешла под скипетр импера-

тора Александра в 1802 году. Грузины — народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.

Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

Душа, недавно рожденная в раю!

Душа, созданная для моего счастья!

От тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, весна цветущая, луна двухнедельная,

От тебя, ангел, мой хранитель,

от тебя ожидаю жизни.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою.

Не хочу обладать миром; хочу твоего взора.

От тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освеженная росой!

Избранная любимица природы!

Тихое, потаенное сокровище!

От тебя ожидаю жизни.

Грузины пьют не по-нашему и удивительно крепки. Вина их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургундских. Вино держат в маранах, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно открыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги.

Тифлис находится на берегах Куры в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижимый воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под сорок первым градусом широты. Самое его название (Тбилискалар) значит Жаркий город.

Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них на-

чинают образоваться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку.

В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассессорским, толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.

Климат тифлисский, говорят, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекари кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Сипягин, говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал он того больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.

Жители пьют курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен.

В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Все прочее дорого в соразмерности.

Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня так же дорого и дурно. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня об-

носили, что я встал из-за стола голодный. Черт побори тифлисского гастронома!

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Раевского. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день.

Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух все еще был душен:

Ночи знойные!

Звезды чуждые!..

Луна сияла; все было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! В тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски.

Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; между ними было несколько женщин. Они сидели верхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки.

Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелье, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был уже другой.

Человек мой со выючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более ше-

сти часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «*Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux*» [3]. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игрищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною

егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единойжды навсегда со своею молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов. Его рукописная комедия: «Горе от ума» произвела неописуемое действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...

В Гергерах встретил я Бутурлина, который, как и я, ехал в армию. Бутурлин путешествовал со всевозможными прихотями. Я отобедал у него, как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один, даже без проводника. Дорога все была одна и совершенно безопасна.

Переехав через гору и спустившись в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперек дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. «Что нового в Эривани?» — спросил я его. «В Эривани чума, — отвечал он, — а что слышать об Ахалцыке?» — «В Ахалцыке чума», — отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались.

Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на Востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров.

Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел все крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя providению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, налитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промочил меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подниматься на горы, между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дующий на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достиг Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул, как убитый.

Казаки разбудили меня на заре. Первой моею мыслью было: не лежу ли я в лихорадке? Но почувствовал, что, слава Богу, бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана, и голубицу, излетающих, символы казни и примирения...

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной

росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый чюрек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелье. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иностранца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия выступила уже из-под Карса. Не могу описать моего отчаянья: мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучившись понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменял иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в двадцати верстах от Карса.

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранью. Я отвечал на его приветствие нагайкой. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне

явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: вербана ат (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника.

Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющий на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: «Карс, Карс!» и пускал вскачь свою лошадь; я следовал за ним, мучась беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и дождь пошел опять; но я о нем уж не заботился.

Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зарю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливнем лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговорив с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и жила в нем по нескольку месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне и что лагерь наш находится в 25

верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлежся напротив угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича.

Потру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне, как умел, военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мной в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу; это было послание к калмычке, намаранное мной на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и сражениях.

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; кругом видны были деревни, но они были пусты: жители разбежались. Дорога была прекрасна и в топких местах вымощена — через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась — передовые холмы хребта Саган-лу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около двух часов; я въехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-чая; через несколько минут я был уже в палатке Раевского. ■

Примечания

1. Прелестная грузинская дева с ярким румянцем и свежим пыланьем, какое бывает на лицах дев ее страны, когда они выходят разгоряченные из Тифлиских ключей. Лалла Рук (англ.).
2. И отлично (итал.).
3. Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей (франц.).



Архив Андрея Пиценко

АНДРЕЙ ПИЦЕНКО

Родился в 1979 году в Краснодаре. Окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. Публиковался в журналах «Родная Кубань», «Наш современник», «Сибирь». Живёт в Краснодаре.

РУСЬ ФЕВРАЛЬСКАЯ

ИСТИННОМУ РУССКОМУ ОФИЦЕРУ К. А.

*«Так сложилось, что Россия —
единственное место, где
может быть весна»*

В. В. Михальский

Ранним февральским утром, еще до свету, все вокруг качнулось, подалось в сторону, стало другим...

Едва слышно, глухо бухнули буфера вагонов. Поезд остановился. Я открыл глаза. Глянул на часы — пять утра. По времени, значит, остановка в Ростове. И верно — все стало другим. Когда поздним вечером садился в вагон, за окном видно было знакомое здание вокзала, маневрухи на путях посвистывали как-то беззаботно, по-домашнему. Поезд тронулся, и за ним побежали привычные огни краснодарских улиц. Скоро их сменила темная ширь полей, в коридоре кто-то громко говорил с родным гэканием, раздольным, как эти поля за окном. Все было знакомым, привычным. А теперь поглядел в окно — незнакомый перрон, люди пританцовывают от холода — все другое. Будто и воздух другой. Станционные огни устлали пол купе бледно-желтой дорожкой, словно зазывающей меня покурить.

На перроне обычная вокзальная суматоха. Возбужденный предстоящей дорогой, спешит к вагонам народ, торопливо тарахтят колесики дорожных сумок. Отрывисто, как будто подгоняя людей, гудит где-то локомотив, диктор однотонным голосом зачитывает объявление. Проводники, подсвечивая себе телефонами, проверяют документы пассажиров. Устало бредет в веселенькой оранжевой жилетке дворник. Срежь людской череды, там и сям, поодиночке, а чаще группами, мужики разных лет — в «мультикаме», «мхе», «цифре», «оливе». Тащат тяжеленные защитные баулы и рюкзаки, ждут свой поезд, курят одну за другой. Разговаривают между собой тихо, словно стараясь сохранить нечто тай-

ное, ведомое только им. Белея гипсом, не вынимая изо рта сигареты, ковыляет на костылях пожилой, небольшого росточка боец с худым рюкзаком за плечами и шевроном «Шторм» на рукаве. Сигаретный огонек будто бы высвечивает в морозном воздухе непростую синусоиду жизни этого человека.

Закуриваю вторую самокрутку, а в голове снова и снова повторяются астафьевские слова: «Где-то гремит война». Да, без одного дня уже два года как идет спецоперация, с той же стороны, с самых первых суток — тотальная ожесточенная война. За два года были Гостомель, Мариуполь, Попасная, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка... Были Изюм и Херсон...

— Братишка, а есть сигарета?

Оборачиваюсь — передо мной высокий парень в камуфляже.

— Самокрутки у меня. Пойдет?

— Вообще отлично, — он улыбается. — Все скурил. Сейчас пойду искать, где тут у них купить можно.

Пока роюсь в карманах, ищу портсигар, парень жадно и радостно глядит вокруг, и на лице его чистая улыбка — наверное, улыбается мирной жизни. Нахожу наконец портсигар, протягиваю самокрутку, и вдруг вспоминаю, а ведь уже двадцать третье!

— С праздником! — говорю ему.

Он сладко, во все меха затягивается, выпускает дым:

— Спасибо, братец! И тебя с праздником!

— Спасибо...

Я опускаю глаза. Кажется, что именно сейчас, сегодня — не мой праздник. Это ЕГО, ВОТ ЭТИХ МУЖИКОВ праздник. А мой остался где-то позади, в далеком прошлом. И вспоминаю, как сам, почти уж четверть века назад (как же давно это было!) с необыкновенной легкостью, казалось, почти невесомостью, ступал по асфальту сочинского перрона после липкой окопной грязи под Боташ-Юртом, радостно глядел на пальмы, стрелял у прохожих сигареты и

был счастлив снова видеть вокзальную суету и в ней каждого встречного, жившего другой, мирной жизнью.

Докуриваю и возвращаюсь в вагон. В купе горит свет. Аккуратно раскладывает вещи парень в «мультикаме». Он военный. Наверное, кадровый. И, скорее всего, офицер. Это видно во всем — в армейской выправке, в основательных, выверенных, отточенных движениях, в которых нет ничего лишнего. Размещая свой рюкзак, он тихо, устало, но как-то очень уютно покряхтывает.

— Доброе утро!

— Доброе утро! — отвечает он и протягивает руку.

— Значит, соседями будем.

— С праздником! — поздравляю его.

— А, точно! Спасибо, взаимно!

Знакомимся. Его зовут Константин. Он высокий, статный. Темно-русые волосы коротко стрижены, серо-голубые глаза в окоме красных, воспаленных век глядят утомленно. Во взгляде, несмотря на усталость, читается постоянная готовность к действию, цепкий, хладнокровный ум много повидавшего человека, а в озорном легком прищуре видится часто присущее профессиональным военным отменное чувство юмора. На виске Константина бьется жилка. Губы его поджаты, массивный подбородок придает его красивому лицу не воинственности, а выразительной мужественности.

— Оттуда? — спрашиваю я его.

— Так точно.

— Как... там?

— Да как, — устало отвечает Константин, — рабotaем...

Сколько всего кроется за одним этим словом — одному Богу известно. Наверное, никакому человеку не под силу вместить в себя необъятность всего того, что стоит за одним этим словом по всей линии фронта. Сколько ежедневного, ежечасного, ежеминутного, запредельно тяжелого труда до кровавых мозолей? Сколько опустошающей одури бессонных ночей, изматывающего ожидания броска вперед или сидения под обстрелом и жужжанием над головой вражеских «птиц», забытья ближнего боя, в котором мир сужается до ближайшего изги-

ба траншеи, а время неровно отсчитывается сухим автоматным треском и хрясканьем раскрываемого кровоостанавливающего жгута. Сколько за этим словом неимоверных усилий, от которых, кажется, вот-вот лопнут жилы и разорвется сердце, остро kloкочущее у самого горла? Сколько смиренных молитв и самых яростных проклятий? Какая великая и загадочная сила таится в самоотречении, когда приходит понимание, что поставленная задача — это, скорее всего, билет в один конец? Сколько кроется мучений, страданий и крови за одним этим обычным словом?..

За ранним завтраком, как часто случается в поездах, пьем коньяк и разговариваем о всяком. Разговор с самого начала получается без неуклюжих заминок, неловких слов о погоде, как бывает среди незнакомых людей, оттого и выходит искренним и душевным. Лишь о войне Константин рассказывает обще и неохотно. Говорит, что всей бы нашей пехотушке, каждому бойцу, кто сейчас воюет в окопах под Работино, будь его воля, дал бы по «Мужику» (ордену Мужества). Слово «пехотушка» звучит у Константина напевно, любовно — и в этом чувствуется его отношение к солдату. Название села — Работино — Константин произносит с непривычным ударением на последний слог. А у меня сразу появляется ассоциация с другим селом — Бородино. Спросить, насколько верна моя ассоциация, я отчего-то не решаюсь...

Константин совершенно не пьянеет, только жилка на виске бьется заметнее. Он не спал всю ночь — добирался до Ростова с фронта. Константину дали отпуск на трое суток, плюс дорога — он едет крестить свою маленькую дочечку. «Дочечка» — именно так и называет ее Константин. И глаза, и лицо его сияют — видно, как бесконечно Константин любит свою дочь.

— В Телеграме только и вижу, как она растет. Когда по видео звоню, тянет ручки к телефону, хочет обнять папку. А папка, балбес, залез в телефон, и почему-то никак не хочет из него вылезать. У жены, вижу, глаза от слез блестят, да я и сам едва сдерживаюсь, — говорит он и замолкает. Плотно сжимает губы и долго глядит в окно.

— Дома, поди, уж часы считают? — выждав, спрашиваю я.

— Нет.

— Почему???

— А я никому из вышестоящего начальства не доложил-с, — Константин поднимает вверх указательный палец и хитро улыбается, — ни жене, ни родителям, ни теще. Все разрешилось буквально в последний момент. Будет сюрприз. Да и дочечке подарок в такой-то день.

Он рассказывает о своей жизни, а я чувствую, как мое сердце согревается от радостных, таких по-домашнему теплых чудес, которые, каждый раз возвращаясь с войны, устраивает Константин. Я чувствую лад и любовь, живущие в его семье, и с каждым новым, сказанным им словом, стремительно растет во мне сердечное чувство к этому человеку.

Отправляясь в первую свою командировку, в Сирию, Константин придумал для родителей легенду — дескать, едет надолго на остров Котельный. Там только спецсвязь — то есть звонков оттуда не будет. На расспросы «а что там? а для чего?», ответил коротко: «Батя, извини, не могу сказать. Сам понимаешь, государственная тайна...» И с каждой новой командировкой легенда не менялась. Также было и со спецоперацией. Сознывая, к чему все идет, Константин предусмотрительно, за месяц, позвонил родителям и сказал, что снова отбывает на остров Котельный. Тоже самое рассказано было и теще. Знала только жена. Сколько сберег своим обманом Константин здоровья родителям и теще за все время, и чего ему самому это стоило?

Как часто звучит у него — «чтобы не волновались родители, не огорчалась жена, чтобы не переживала теща». Тещу он с большим уважением и любовью называет: «Гвардии теща». Я с радостью вижу, что нет в нем и намек на то нелепое, нередко встречаемое чувство, когда теща видится врагом всего человечества. Не волновать, не расстраивать родных Константин старается даже в мелочах. Я с удивлением и улыбкой слушаю его рассказ, как он бросал курить. Константин, выдержав паузу в три месяца, удостоверившись в том, что привычка окончательно

но побеждена, лишь тогда рассказал родителям, что бросил. А потом — новая командировка в Сирию, «серьезный замес», почти трое суток без сна... И когда он уже буквально падал от усталости, когда близкие разрывы равнодушно казались какими-то далекими и ненастоящими, закурил, чтобы хоть как-то взбодриться. Так сигареты снова появились в жизни Константина. Вернувшись, он, побывавший во многих передрягах капитан-разведчик, дабы не расстраивать родителей, курил украдкой, как в школьные годы. В кармане всегда имелась мятная жвачка, а в тайном месте — сорванная веточка, переломленная пополам. Ею он зажимал фильтр сигареты и курил так, чтобы запах табака не оставался на пальцах...

О том, где был Константин, родители узнали недавно. Так вышло, что, получив повышение и назначение в новую часть, домой на побывку он приехал вместе со всей купленной им самим амуницией — огромным баулом и потертым бронежилетом с выцветшей георгиевской ленточкой. И батю, как его называет Константин, мгновенно огля догадка:

— Я так понимаю, ты был не на острове?..

Теперь родители знают о командировках и боевых наградах. Но о том, что их сын сейчас едет домой, едет к ним, к дочечке, жене и теще, не знают.

Две бутылки коньяка, или «двойной боекомплект», как называет их Константин, опустели и надежно спрятаны им в непрозрачный пакет.

— Ибо распивать крепкие спиртные напитки в поездках запрещено! — снова поднимает вверх указательный палец Константин и улыбается. — А раз запрещено, то ничего и не было. Тем более, что подтверждения данного предосудительного факта средствами объективного контроля не зафиксировано.

Я смеюсь. И все больше проникаюсь уважением и крепким братским чувством к этому человеку.

— Ты меня извини, но я отобьюсь, — говорит Константин. — Всю ночь не спал, да и до этого «немец» не давал припухать особо.

— Да, конечно, спи.

Константин с удовольствием растягивается на полке, глядит какое-то время в телефон. Я нечаянно замечаю — он смотрит фотографии дочечки.

Но скоро Константин прячет телефон и почти мгновенно засыпает крепким и праведным сном человека, долго и обстоятельно делавшего нужное, важное дело.

Смотрю в окно — белым-бело. Здесь уже лежит снег. Позади остались скифские курганы и степи, русской сохой и неисчислимым трудом превращенные в поля. Все реже и реже встречаются турлучные мазанки. И чаще — избы с кружевными, сказочными наличниками и резными приветливыми крылечками. Осанистые деревянные дома на основательных каменных подклетах горделиво глядят ажурными светелками. Само время, кажется, бессильно снимает здесь шляпу перед красотой и широтой русского духа, воплощенными искусными руками. Мимо величаво и неспешно проплывает Тысячелетняя Русь. Краса этой земли, ее материнская ласка, радушие и богатство, былинные герои, страницы славных и горьких времен ее летописи — все в названиях тихих деревушек и маленьких станций: Сестренка, Остролучье, Богоявленск, Александро-Невская, Березки, Дрязги, Суворовка, Любинка.

Плывут перелески, рощи и колки, балки, долины и реки, карабкаются на холмы деревенские домики. Гляжу, как весело скатываются улочки сел по заснеженным, радостно искрящимся на солнце косограм и вспоминаю, что скоро Масленица. В одном дворе успеваю заметить картину, на мгновение возвращающую меня в детство: лохматый серый пес, смешно задрав вверх одно ухо, сидит на крыше своей будки, а рядом — пухлый снеговик с морковным носом и ручонками-веточками. Кажется, будто увидел я милую новогоднюю открытку из тех своих добрых ребячьих времен. Где-то на далеком холме лучится солнечным, пшеничным и медовым златом маковка церкви, будто парит над землей. Тонкие, теплые, трепетно подрагивающие золотистые лучи весело и нежно играют в чистом воздухе над раздольем полей и кажутся они ажурным творением неведомых небесных мастериц, искусниц-золотошвей. Светлее становится небо и все вокруг. Сердце мое, мнится, наполняется солнечным светом и радостно трепещет в груди.

Встречаются маленькие, безлюдные полустанки.

Их дощатые строения тоскливо глядят на проезжающие поезда темными, по-стариковски впалыми глазницами окон, разевают рты пустых дверных проемов. Кажется, что они доживают свой век лишь ностальгией по далекому, другому времени. На покосившейся крыше старого пакгауза как-то сокрушенно хлопает на ветру полоска толя.

И мнится, что я слышу:

— Не то, не то, не то...

Думаю, что стены этого пакгауза впитали еще крепкий деготный дух телег, шпал и угольного дыма, помнят уютный свет керосиновых сигнальных фонарей в тумане шипящего пара, какой, пробегая мимо, неизменно пускали озоровавшие, игриво посвистывавшие паровозы. Помнят далекий, тревожный, словно сирена, рев воинских эшелонов, спешивших на запад. И хмельные паровозные гудки, залиvistую гармонь и радостные возгласы победителей, возвращавшихся весной сорок пятого...

— То-то, то-то, — будто отвечают старому пакгаузу колеса вагона — налитые молодой, железной силой, не тронутые еще ржой времени, с безоглядной легкостью мчащиеся вперед.

Созвучно временам, железно и резко грохочут мосты, а их фермы, балки, стойки и раскосы, переплетаясь, заботливо укрывают речной лед причудливыми тенями, похожими на маскировочные сети. У некоторых мостов — зенитки. Далеко, на западе, у горизонта — свинцовые, тяжелые тучи, кажущиеся паром от тяжелого, с хрипом и посвистом, дыхания войны.

Глядя на широкие, великие реки, скованные льдом, думаю о тревожных временах Александра Невского. Вижу проплывающие луковки древних церквей и многовековые монастырские стены и пытаюсь представить себе эту землю вокруг, посеревшую от скорби и пепла пожарищ в черные времена монголо-татарского ига, смут и раздоров.

На бескрайнем домотканом полотне заснеженных русских полей серыми шерстяными нитями лежат дороги. И мнится мне, что именно сейчас по ним мчат к передовой не ведающие устали волонтеры, охаиваемые иными визгливыми «героями», вещающими из какой-то другой реальности голубых

экранов. Волонтеры везут на фронт великое множество грузов, собираемых по крупицам всей страной, грузов, необходимых на передовой, как воздух.

Все чаще появляются леса. Медные стволы могучих сосен и белые, женственные, тонкие станы берез бегут за окном. Кажется, водят они хороводы, то убегают от поезда, то мчатся за ним. Мелькают, лихо прячутся друг за дружку, сливаются, кружатся — будто смотрю я на природное, всесветное, удалое гулянье. А остановись сейчас поезд, и леса эти увидятся иными — тихими, светлыми, наполненными мудрой печалью. Вот так, наверное, и мы в безоглядной спешке смотрим вокруг и на бегу часто видимся друг другу бесшабашными повесами или проворными ловкачами. Но задержимся, присмотримся хорошенько — нет, еще есть в нас неразгаданная широта и вековая, жертвенная, ввысь устремленная жажда поиска правды. Снова смотрю на чашу за окном и кажется мне, что именно в таком лесу на валуне преподобный Серафим Саровский совершал свой подвиг молитвенного стояния. И, может быть, где-то в дремучей глуши, в тихой берлоге, мирно спит сейчас потомок того самого медведя, которого преподобный кормил хлебом?

Позади остаются маленькие, славные, тихие и многопомнящие городишки, с их милой провинциальной неспешностью и молчаливой, упрямой борьбой за жизнь, все же утекающую из них, с их открытостью и терпением, старозаветно прибранными могилками на кладбищах, свежими цветами на мемориалах и пустыми бутылками на снегу, с бодовыми круглосуточными ларьками и радушными музеями, с криком галок у древних монастырских стен, колокольным звоном и молитвенной тишиной офисов и мастерских, в которых женщины после работы плетут для фронта маскировочные сети. Маленькие городишки с их прямыми, как оглобли, вопросами, застревающими в лабиринте хитроумных стратегических комбинаций лукавых столиц. Славные городишки с их чиновной армией, из которой, бывает, за воровство и мздоимство через остроги тоже попадают в «шторм» и бьются там до талого...

В наступающих сумерках все ближе и ближе надвигаются темные дубравы — исполинские дубы стоят стеной. Чувствую их великую силу. Только оставь супротив такой без догляда здешние места — и приберет лес придорожную землю вместе с самой железкой, огородит частоколом, увьет подлеском. Дремучие, сказочные леса... Кажется, именно в такой чашобе и сидел Соловей-Разбойник. Здесь, наверное, заплутав, можно встретить поросшую мхом избушку на курьих ножках и ее обительницу — Бабу-ягу. Да, вот уж и до сказочных персонажей добралась война. Вспоминаю, как читал об украинских гексокоптерах, так и называемых — «Баба-яга». И вдруг думаю: а может то, что происходит вокруг, это и есть для нас Калинов мост через огненную реку Смородину, каким уж не раз проходили предки наши?..

Бежит, бежит за окном Русь. И вспоминаются слова гения из бессмертной его поэмы: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа».

К пробуждению, новой жизни, к весне, к благовесту капли и серебристому звону ручьев, к вольным птичьим песням, любовному шепоту молодых березовых листочков, к пасхальной радости мчишься ты, Русь? От весны ли пытаешься скрыться в сером мороке выюги, неистовствующей на заходней стороне, все дальше и дальше забирая от торного пути? И заплутавши, не сожмешься ли на снегу среди дремучих лесов, не забудешься ли беспробудным сном на потеху и пир картавому хору черного воронья? Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Лишь набатом стучат леса.

«Люблю тебя», — едва слышу я невнятный голос Константина. Смотрю на него — спит. Понимаю, что сейчас снова побеждает он душевной силой время и пространство, возвышается сердцем надо всеми ужасами войны, оставляя их позади — сейчас, в эти мгновения Константин дома, признается в любви. А я смотрю на него и верю. Несмотря ни на что, верю: пока звучит это слово — Любовь, звучит среди полей, лесов, в городах и селах, звучит на русском языке — к пробуждению, весне, к новой жизни будет мчаться Русь... ■



НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ИСТОРИИ





Архив Владимира Казанкова

ВЛАДИМИР КАЗАНКОВ

Родился в 1956 году в станице Бесскорбной Краснодарского края. Историк, краевед, публицист. Член Отрадненского районного общества историков-архивистов. Публиковался в журналах «Родная Кубань», «Казарла» и других СМИ.

Живёт в станице Бесскорбной.

СЕЛО ТРЕХСЕЛЬСКОЕ: СТАНИЦА, КОТОРАЯ НЕ СЛУЧИЛАСЬ

Много ли мы знаем о своем родном крае? Вопрос неспроста. В паспорте каждого человека есть графа «место рождения» — название его родного места. Абсолютно для многих — это не только сочетание букв и звуков, отражение географической действительности для ориентирования в пространстве, а именно то, «с чего начинается Родина». Каждый населенный пункт, даже самый маленький, имеет свое название. Но далеко не все могут похвастаться знаниями о том, когда и почему появилось это название. Многие спросят, зачем все-таки обладать этими знаниями? Прежде всего — для памяти! Помним мы — не забудут и про нас. Нет памяти, наступает беспамятство, а это страшно. Краеведение — это как раз тот самый случай, когда «лучше поздно, чем никогда».

До недавних пор история села Трехсельского Успенского района Краснодарского края оставалась, наверное, самой малоизученной страницей в региональной летописи Поурупья. Когда и при каких обстоятельствах появился этот населенный пункт, являлось одной из главных его тайн. Существующая скупая информация о селе на нынешний день в основном концентрировалась на спорных, предвзятых фактах, представляя далекий от исторических реалий назойливый маргинальный «фольклор» недобросовестных «историков». Между тем история — это очень серьезно, все должно соответствовать истине, а не придуманным мифам и легендам.

К счастью, буквально недавно в Государственном архиве Краснодарского края (именно здесь находится передовая борьба за истину) удалось обнаружить ряд крайне важных исторических документов, позволивших не только однозначно

определить «точку отсчета» — точную дату появления Трехсельского, но и пролить свет на основные обстоятельства этого события.

Безусловно, с исторической точки зрения история Трехсельского началась несколько раньше того времени, когда на реке Уруп появилось селение с названием Трехсельское. В отличие от военно-казачьего освоения левобережья реки Уруп, проходившего в огне Кавказской войны, заселение правобережья этой реки имеет свою особенность, обусловленную прежде всего фактом прямой связи с крестьянским переселенческим процессом уже послевоенного освоения Закубанья.

Именно поэтому «предыстория» села начинается в 60–70-х годах XIX в., когда «за службу на Кавказе» и оказанные при этом в пользу Отечества подвиги генералам, офицерам бывшей Кавказской армии было щедро пожаловано право владения крупными земельными наделами на правобережье реки Уруп. В наших местах — это конкретно — генерал-майор, князь А. Е. Бектабеков, генерал-майор П. П. Кравченко, генерал-лейтенант А. П. Опочинин, генерал-лейтенант Н. И. Вольф, генерал-майор, князь И. К. Орбелиани, генерал-майор И. Д. Оклобжио, генерал-лейтенант Генерального штаба И. И. Ходзько и т. д. [5. с. 228]. Примерное представление об общей картине расположения этих участков можно найти на «карте Иваненкова 1902 года», а также в «Памятных книгах Кубанской области» на 1875–1876 годы, в разделе «Перечень участков, отмежеванных городам, колониям, монастырям, станицам, селам, аулам и частным владельцам Кубанской области».

Получив землю в частную собственность, несклонные хозяйствовать на земле герои Кавказкой



войны в большинстве предпочли, даже не разу не появившись в своих «имениях», побыстрее с ней расстаться. Приспособиться к новым капиталистическим условиям ведения хозяйства и непосредственно проявить себя с сельскохозяйственной стороны удалось совсем немногим. С течением времени большинство земельных участков были по различным причинам проданы (иногда неоднократно) другим лицам. Пользуясь безденежьем и хозяйственным невежеством импровизированных «помещиков», их всемиловитейшие пожалованные «латифундии» в большинстве случаев скупались за бесценок. Вот такая история! Собственно, она повторяет нынешнюю, один в один с «колхозными паями»!..

Быстрое экономическое развитие края, его малонаселенность, нехватка рабочих рук, плодороднейшие почвы, сравнительно низкие цены на землю и ее аренду, а также правительственные мероприятия (издание Положения 1862 года «О заселении предгорий Западного Кавказа» и Закона от 29 апреля 1868 года «О дозволении русским подданным невоинского сословия приобретать собственность в землях казачьих войск»), делали земли Поурупья притягательными для крестьян из центральных губерний Российской империи. Народ буквально хлынул сюда: «...желающих здесь поселиться становилось все больше и больше» [4]. Наличие большого числа рабочих рук обеспечило

бурный экономический подъем в регионе совсем за непродолжительное время, несмотря на все трудности. Правобережье Урупа изменилось коренным образом — на этих землях появилась густая цепочка разнокалиберных селений, объединенных общей задачей сельскохозяйственной эксплуатации местных земель.

Первое официальное упоминание о селениях, ставших впоследствии административным зародышем будущего Трехсельского, относится к 1885 году. Это всем известный «Список населенных мест по сведениям 1882 года», составленный действительным членом Кубанского областного статистического комитета есаулом Е. Д. Фелицыным и изданный Кавказским статистическим комитетом в 1885 году в Тифлисе. Отметим, что тогда есаул Фелицын в своем «списке» учел только крупные хутора. В соответствии с Положением об общественном управлении в казачьих войсках, изданным в 1870 году, поселковое управление могли заводить только поселения, имеющие более 30 дворов. Населенные пункты, состоявшие из одного или нескольких домохозяйств, а также имеющие временное значение и непостоянный состав населения, вообще не фиксировались. Такие небольшие хозяйственные поселения часто меняли свое расположение (дислокацию), из капитальных надворных сооружений можно назвать, и то с трудом, только землянку. Не учитывались и усадьбы, располагавшиеся на арендуемых землях.

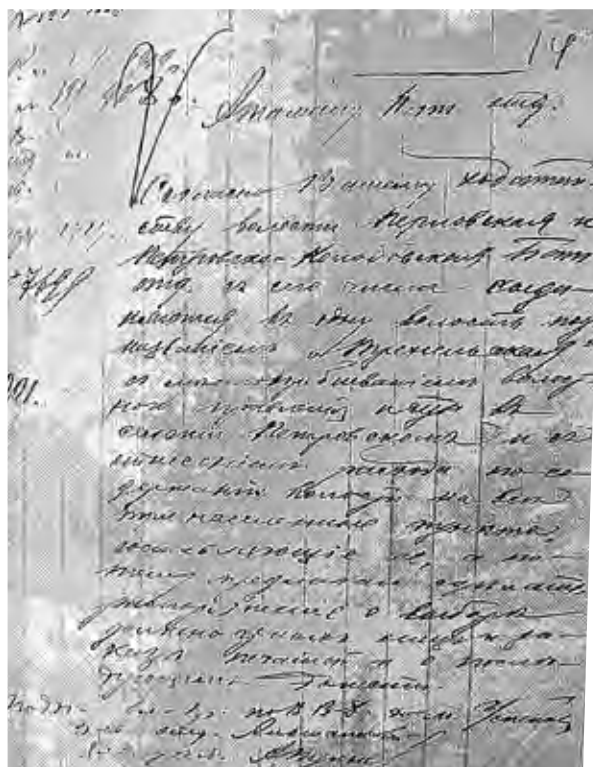
Важно отметить, согласно утвержденному в 1891 году новому Положению об общественном управлении в казачьих войсках, заменившему Положение 1870 года, в Кубанской области для казачьего населения устанавливались две категории населенных пунктов: станицы и хутора, управляемые казачьей администрацией. Для невоинского же населения, проживавшего в селениях, поселках и аулах, предусматривалась волостная система управления. Волость — низшая административная единица крестьянского самоуправления, образуемая из смежных сельских обществ.

Как бы там ни было, накануне революции 1917 года будущая «трехсельская» территория состояла

из трех волостей — Перловского и Колобовского товариществ, соответственно, селения — Перловское и Колобовское (будущий хутор Воронежский), а также частновладельческих земель вдовы есаула Петровой (Несмашной) Татьяны Захаровны — селение Петровское [8, с. 186]. Тем не менее, это скорее вехи истории Поурупья, но еще не история будущего Трехсельского.

Новый виток развития этих поселений начнется после трагических событий 1917 года. Как уже говорилось ранее, в Государственном архиве Краснодарского края чудесным образом нашелся уникальнейший документ — «Приговоры волостных сборов о слиянии волостей Петровско-Колобовской и Перловской в одну «Трехсельскую» волость» [3]. Богатый документальный материал дает возможность называть точную дату основания «Трехсельского» — 27 марта 1919 года [3, с. 14]! В этот день членом краевого правительства по внутренним делам генерал-майором Н. М. Успенским и заведующим отделом самоуправления А. И. Алышанским было утверждено ходатайство атамана Баталпашинского отдела полковника П. С. Абашкина о том, что «волости Перловская и Петровско-Колобовская Баталпашинского отдела соединяются в одну волость под названием "Трехсельская", с местопребыванием волостного правления и суда в селении Петровском и с отнесением расхода по содержанию волости на все три населенных пункта составляющих ее».

Появление единого Трехсельского стало возможно благодаря так называемым «выборным» — «коренным жителям» названных волостей, проголосовавших на сходе за этот приговор — «1918 года, декабря, 6 дня» [3, с. 7]. Их по праву можно назвать «отцами-основателями»! Пожелтевшие страницы протоколов волостных сборов сохранили фамилии выборных жителей волостей, принявших судьбоносное решение об образовании Трехсельской волости: председатель сбора Степан Левенко, старшины Петровско-Колобовской волости Павел Петренко, Перловской волости Еременко, выборные грамотные А. Авраменко, С. Юрченко, Потап Дудченко, Василий Орлов, Симон Гавриш,



Е. Мальцев, Фома Дробилка, Евгений Клименко, Георгий Хаверов, Петр Мильченко, Петр Карась, Степан Качупка, Григорий Нецвет, Антон Лысенко, Александр Адаменко, Михаил Буц, Дмитрий Шитов, Федот Малога, Павел Олейников, Спиридон Назаренко, Василий Орлов (2-й), Степан Курасов, Яков Розинка, Василий Тройно, Иван Харченко, Кирилл Харченко, Степан Чаликов, Арсентий Огий, Василий Буданов, Иван Глушенко, Григорий Москалев, Наум Антюшин, Никифор Гапонюк, Кирилл Кривцун, выборные неграмотные Козьма Кратов, Денис Лозовицкий, Никифор Адаменко, Михаил Строй, Пимен Олейников, Зиновий Шейка, Аникей Ивахненко, Кондрат Иванченко, Кондрат Постовенко, Александр Панченко, Илья Глушенко, Никита Ливун, Григорий Щербина, Алексей Гриценко, Козьма Новак, Федор Белоусов, Араим Кашин, Мартын Антоненко, Федот Заря, Давыд Заяц, Иван Петренко, Василий Пустовой, Никита Коновал, Петр Иващенко. Удив-

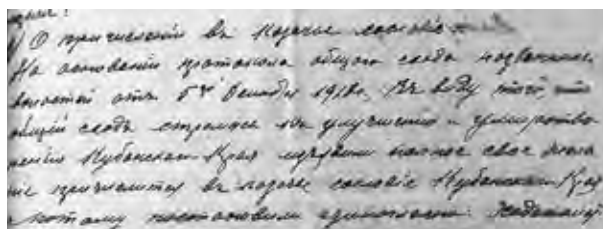
ляет и вызывает уважение упорство, с которым они добивались положительного для себя решения!

Найденные документы позволяют установить также имя «крестного отца» Трехсельского — полковника Петра Степановича Абашкина, в ту пору атамана Баталпашинского отдела Атаман не только приветствовал «приговор» жителей и не чинил препятствий, но и лично ходатайствовал перед краевыми властями за новую административную единицу под названием «Трехсельская».

Первым волостным старшиной Трехсельской волости стал член Кубанской законодательной Рады от Баталпашинского отдела Даниленко Николай Петрович [3. с. 7].

Вместе с тем Трехсельская волость была лишь своего рода промежуточным этапом Главной и конечной целью является первый пункт в этом приговоре: «...О причислении в казачье сословие» Участники проходившего тогда схода единогласно «...изъявили полное свое желание причислиться в казачье сословие Кубанского края!» Основной мотив — «стремясь к улучшению и умиротворению Кубанского края, а потому постановили единогласно ходатайствовать о причислении коренных жителей наших сел в "казаки"» [3. с. 7]. Что тут скажешь?.. Сказано, конечно, неплохо. Но на самом деле термин «умиротворение» — восстановление мира, успокоение — довольно широко трактуется. Что конкретно декларируется под «умиротворением» и какие смыслы таились в тех событиях, в «приговоре» не сказано. Крайне важно, конечно, несмотря ни на что, желать своей Родине «улучшения и умиротворения», однако в определенной степени сводить все к патриотическому порыву здесь не стоит, истинная подоплека принимаемых решений далеко не всегда отражается в документах.

Подлинная картина того времени вырисовывается полностью, если вспомнить, что характерной чертой кубанского региона было сословное деление в нем населения. Оставаясь формально равноправными гражданами Российской империи, казаки, горцы и частично коренные иногородние находились в более привилегированном по отношению к другим слоям населения положении. Это



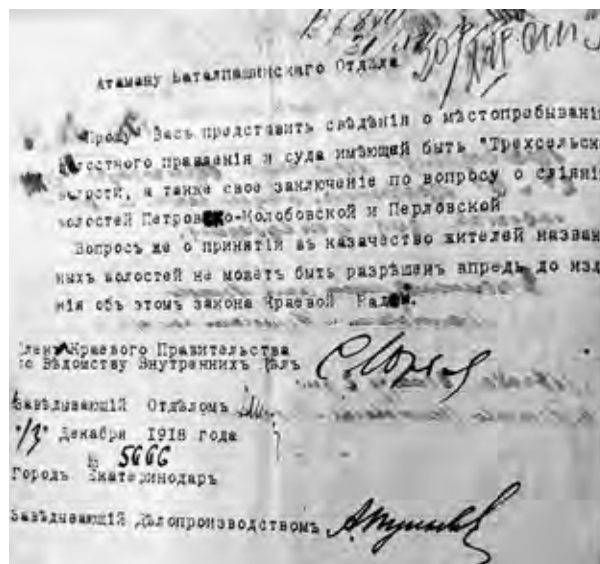
выражалось прежде всего в отношении их к земле, различным налогам и повинностям, к их участию в местном самоуправлении. Такое неравенство указанных слоев населения неизбежно порождало серьезные социально-экономические антагонизмы, которые к 1917 году зашли довольно далеко.

Как известно, после изгнания большевиков в декабре 1918 года Кубанское краевое правительство до проведения земельной реформы земли крестьян, их товариществ и мелких собственников

оставило за прежними собственниками и арендаторами. Их права, уничтоженные большевиками в 1917 году, подтверждались, однако одновременно с отрицанием частной собственности на землю. Буквально с самого начала создания земельного законодательства в крае проявилось стремление к ограничению прав одной категории населения, крестьянства, и создание привилегий для другой, прежде всего казачьей и горской категорий. Несовершенство закона порождало большую неопределенность и вынуждало иногороднее «коренное» население активно заниматься поисками своего адекватного положения. При всем при том альтернативы стать полноправными кубанскими гражданами иначе, чем путем вступления в казачье сословие, практически не было.

Одна из мер Рады Кубанского края и правительства, направленная на устранение и сглаживание противоречий между крестьянством и казачеством, включала обсуждение законопроекта о порядке приема в казачье сословие. Революционные события 1917 года и последующая Гражданская война внесли большие коррективы в процесс приема в казаки. Проект предусматривал прием в казачье сословие как отдельных лиц, семейств, так и земельных крестьянских товариществ и целых сельских обществ. Из-за огромной сложности решение этого вопроса затянулось, полномочия своим решением переводить в казачье сословие население отдельных волостей и слободских сообществ краевое правительство получит лишь в конце 1919 года.

В целом мотивы защиты Отечества при принятии «приговора», конечно же, присутствовали, однако тактической мимикрией они уж точно не были. Для более глубокого понимания действий «трехсельцев» напомним, что «коренные жители» будущей станицы в своем большинстве были люди отнюдь не бедные, более двух третей имели на правах собственности землю и постоянную оседлость [2]. Это же подтверждают и советские источники: «...Население на 80 процентов зажиточное, большой процент бывших частных собственников, имевших собственные большие участки земли». [1]



А зажиточные крестьяне, как известно, равно как и казачество, дворяне, духовенство и буржуазия, рассматривались большевиками как классовые враги, подлежащие безусловному тотальному уничтожению.

Подводя итог, подчеркнем еще раз: все это происходило в обстановке кровопролитной Гражданской войны. Буквально только что закончился «Второй Кубанский поход», в результате которого была очищена от большевиков Кубанская область, а двухнедельному яростному сражению за Безскорбную, результатом которого стало изгнание большевиков из урупского региона, исполнился всего лишь только месяц. Мрачная «слава» уголовно-революционного праздника «борцов за народное счастье», продлившегося более полугода на кубанской земле, выходила за все рамки. Стереть из памяти такое невозможно... Безусловно, это заставляло делать выбор, безусловно, каждый понимал, на что идет. Формально лицезреть, как напрягается земля Кубани, пытаясь не проиграть большевистскому интернационалу, «трехсельцы», судя по всему, не желали.

Не исключено также, что «казачья» идея давно существовала в умах «трехсельских» обывателей.

Определенное влияние на это могло оказывать близкое соседство с богатой казачьей Безкорбной, интересы жителей, которой за много лет тесно переплелись с интересами этих селений. Добрая половина фамилий в тех же «посемейных списках домохозяев» за 1920 год — сплошь «безкорбненские» фамилии! Предположительно, первоначально многие из них являлись жителями Безкорбной, купившими в свое время приглянувшуюся им землю на противоположном берегу Урупа.

Если вопрос об образовании Трехсельской волости решился относительно быстро, то процедура «принятия в казаки» для «трехсельцев» растянется до 4 ноября 1919 года. В этот день на вечернем заседании Совета Кубанского краевого правительства, состоявшегося в Екатеринодаре, на основании ст. 7 утвержденного в порядке ст. 57 Временного положения об управлении Кубанским краем закона о переходе на казачье положение, было принято постановление о переводе на казачье положение волости Трехсельской Баталпашинского отдела, согласно возбужденным на волостном сходе приговорам их ходатайств, с распространением на всех их прав и обязанностей казаков Кубанского края. «...Селение Трехсельское именовать впредь станицею» [б. с. 339]!

Попутно упомянем, что несколько позже, 22

ноября 1919 года, Баталпашинский отдел пополнился еще одной станицей — Хасаутской! Согласно ходатайству, заявленному местным волостным сходом, в приговоре от 6 октября сего года № 47, «в казаки» вновь образуемых станичных обществ перешли члены селения Хасаут-Греческое [б. с. 384].

Впрочем, все это случится практически под занавес. Ранней весной 1920-го, как мы помним, пользуясь превосходством в численности и оснащении, большевистские полчища вернулись на Кубань. Казачья жизнь закончилась в одно мгновение; как покажут дальнейшие события, казачество напрочь вычеркивалось из списков союзников советской власти. Шансов вписаться в советскую историю у казачьей станицы Трехсельской не было абсолютно никаких: просуществовав буквально считанные месяцы, она навсегда станет селом. Дальнейшие события похоронили не только казачью историю Трехсельского, но и саму память о ней. Замалчивание кубанской казачьей истории было традицией советской историографии. Однако факт остается фактом — станица Трехсельская была!

В заключение считаю долгом выразить признательность уроженцам Трехсельского — А. Н. Саваськову и С. Н. Школе, поскольку данная статья — итог нашего плодотворного сотрудничества. ■

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Газета «Трудовой путь» Армавирского округа, апрель. 1925 г. Статья «Школы Трехсельского».
2. ГАКК. Р. 204. Оп. 1. Д. 132. «Посемейные списки домохозяев ст-цы Трехсельской Баталпашинского отдела по переписи 1920 г.».
3. ГАКК. Ф. Р7. Оп. 1. Д. 603.
4. Некоторые проблемы колонизации Закубанья в 60-е гг. XIX в. (по материалам П. П. Короленко) / <http://churh-history.cerkov.ru/nekotorye-problemy-kolonizacii-zakubanya-v-60-e-gg-xix-v/>.
5. Памятная книжка Кубанской области на 1875 год. 1875. Екатеринодар. «О ходе межевых работ в Кубанской области по 1 ноября 1874 г.».
6. Протоколы заседаний Кубанского краевого правительства: 1917-1920. Т. 3. Глава 8. С. 338.
7. Протоколы заседаний Кубанского краевого правительства: 1917-1920. Т. 3. Глава 7. С. 239.
8. Список землевладельцев Кубанской области и Черноморской губернии, по данным уездных (окружных) по Раскладке поземельных сборов Присутствий. 1911 г. Екатеринодар. С. 186.



«Трехсельцы» — семья Мильченко. Снимок с большой долей вероятности сделан в период 1915–1917 годов. Бравый фельдфебель — георгиевский кавалер, вероятно, прибыл на побывку. По этому случаю собралось все семейство. Домашний интерьер говорит о том, что фотографа пригласили на дом. Как известно, наполнение интерьера в определенной мере способно выдать личные черты владельца. Простота и строгость комнаты, разбавленная картиной на стене (не похожей на репродукцию), опущенными до пола гардинами (не простыми занавесками!), говорит о рациональности и практичности хозяев и некоем их достатке. Отсутствие вычурного декора показывает, что люди достатком не кичатся. Гордо положенные руки на колени олицетворяют трудолюбие, активность и независимость, а также открытость и доброту. Внешний вид, одежда, обувь, аксессуары тоже не говорят о роскоши, тем не менее ни о какой бедности хозяев нет речи. Невороженным глазом видно, что на добротную, безукоризненную одежду не только для себя, но и для детей у этих людей денег вполне хватает.



Архив Татьяны Радионовой

ТАТЬЯНА РАДИОНОВА

Родилась в 1988 году в городе Армавире. Окончила филологический факультет Армавирского государственного педагогического университета. Работает в ООО «Аполинария». Публиковалась в журналах «Родная Кубань», «Парус», «Новая литература», «Писатель XXI век», газете «День литературы» и других СМИ. Живёт в Армавире.

БРАТЯ КЛЮЧАНСКИЕ

Все чаще меня захватывают образы, связанные с малой родиной. Тревожат и волнуют сердце рассказы о былом, слышится шепот семейных легенд. Наверное, настал тот час, когда уже совсем осознанно я могу отдаться воле этих чувств и отправиться на поиски ушедшего, утраченного. Вот они, те самые камни, которые мне нужно теперь собрать...

Моя вселенная — Армавир и Вольное, в чью землю накрепко вросли мои корни, напитавши меня молоком и кровью разной культуры, традиций здешних племен. И я вольно и невольно ношу в себе часть истории до той поры, пока сама не превращусь в историю, в незнакомое лицо в чьем-то альбоме, которое так же будут опознавать любопытные потомки.

Передо мной широкая дорога. Она уведет меня в черно-белые времена старинных фотографий, витиеватых записей рукописного текста. Но на самом деле это путешествие гораздо больше и глубже плоских картинок. Сумею ли я вернуться обратно такой же, как и была прежде, неизвестно.

Как часто бывает, что случайная встреча может стать судьбоносной, а простое, казалось бы, стечение обстоятельств может превратиться в указующий перст судьбы. Так и мое странствие в далекие времена Кавказской войны началось со случайной встречи четвероюродного дяди, который был проездом в Армавире. В разговоре с ним я не могла не спросить об одном семейном придании, которое гласило о том, что у нас в роду был полковой священник. Тогда я впервые услышала имя Арсения Ключанского, нашего прародителя, прибывшего сюда, на Кавказ, из Воронежской губернии. Но хотелось узнать о нем больше: какой это был человек, что стало причиной смены места жительства, как сложилась судьба моего дедушки в шестом колене и где он похоронен? Этот разговор стал началом большого генеалогического исследования, которое и сейчас еще не закончено.

Ухватываясь за тонкие ниточки фактов, раздобы-

тых из рассказов родственников, в архивах, музеях, постепенно переплетая их между собой, удалось проявить картину большой ветви священнослужителей Ключанских на Кавказе. А началось все с того, что после смерти родителей по собственному прошению пятеро братьев Ключанских прибыли на Кавказ, «еще во времена его завоевания, и все поступили на службу по духовному ведомству» [1]. Их отец Георгий Ключанский был причетником соборной церкви города Бирюча Воронежской губернии.

Возможно, они были из числа «охотников» — добровольцев, которые ехали сюда не по приказу или жребию, а по собственной воле, охоте. Молодой Кавказской епархии нужны были образованные и высоконравственные священнослужители, «которые проповедью и собственным примером могли бы вернуть "заблудших" в православную веру». Поскольку в условиях заселения региона в середине XIX века возникла угроза активизации «сектантства и старообрядчества среди жителей новых казачьих станиц. Это было особенно вероятно в случае длительного отсутствия в них православных священников и церквей. Данное обстоятельство заставило духовенство позаботиться, чтобы в каждой новой станице был священник, который, кроме совершения треб, следил бы за упрочением нравственности среди жителей и наблюдал за устройством молитвенного дома» [2].

В 1861 году марта 21 дня Арсений Ключанский был принят главным священником Кавказской армии протоиереем Гумилевским в подведомственное ему духовенство с назначением на священническое место, на открывшуюся вакансию в станицу Надежную при Михаило-Архангельской церкви [3], тем самым став первым священником в новообразованной станице.

К сожалению, сведений о первой Свято-Михаило-Архангельской церкви на «деревянном фун-

даменте» [4], построенной тщанием прихожан в 1860–1861 годах, практически никаких не имеется, кроме скромного, но очень важного упоминания в статье А. Бабича. В том же году 24 июля предписанием главного священника отец Арсений был назначен духовником для 5-й бригады Кубанского войска. В 1868 году указом Кавказской духовной консистории от последней должности был уволен по болезни. В 1869 году преосвященным Феофилактом, епископом Кавказским и Екатеринодарским, за долговременное и усердное служение при честной жизни награжден набедренником. В январе 1871 года был вновь утвержден на должности духовника, теперь для одиннадцати причтов упраздненной 5-й бригады Кубанского войска; указом Кавказской духовной консистории. В 1874 году духовенством 10-го благочиннического округа был избран членом этого совета, в каковой должности утвержден преосвященнейшим Германом, епископом Кавказским и Екатеринодарским [3].

В 1878 году отец Арсений получил наградную скуфью. Отмечалось, что «пастырские обязанности батюшка знает очень хорошо, прихожан поучает печатными проповедями, по должности исполнитель» [3]. Кроме этого, отец Арсений Ключанский был законоучителем и преподавал два урока в неделю. 12 февраля 1888 года отец Арсений был уволен за штат согласно прошению из-за болезненного состояния [5]. На этот момент ему было 58 лет.

Согласно клировой ведомости от причта 10 благочиннического округа за 1896 год, которая хранится в Ставропольском архиве, у отца Арсения было две дочери — Анна и Параскева. Анна была замужем за отставным подпоручиком Яковом Васильевичем Полищуком, место их проживания неизвестно. Параскева же вышла замуж за крестьянина из Владимирской губернии Федора Васильевича Мигунова (про себя прозванного мной «загадочный»). Информацию об этом человеке я искала долгие шесть лет, а в итоге получила еще больше вопросов, так как указанного места рождения, записанного в той же клировой ведомости, села Малые Дебры Ковровского уезда Владимирской области, никогда не существовало. Долгие переписки с историками-краеведами

Владимирской области не принесли результатов, и мне остается лишь строить теории дальше, продолжая поиски). Параскева и Федор жили в отцовском доме. Их жизнь овеяна невероятными слухами и легендами, описывать которые пока я не нахожу возможным ввиду их недостоверности.

По какой-то причине в «Ставропольских епархиальных ведомостях» не указываются ни дата смерти отца Арсения, ни место погребения. Однако есть версия, что его похоронили в соответствии с православной традицией — возле церкви, где он служил. Эту гипотезу, хоть и словесно, подтверждает рассказ одной из родственниц старшего поколения, которая лично общалась с его праправнучкой.

Судьба Михаило-Архангельской церкви повторила судьбу многих храмов в годы советского лихолетья. В 1935 году церковь была закрыта, а здание переделано под клуб, где сейчас располагается местный ДК, могилу отца Арсения, видимо, сравняли с землей. Безмолвным напоминанием о жизни Арсения Ключанского является его дом, он и поныне добротнo стоит недалеко от ДК, никому не известный своей историей, но взрастивший в себе ни одно поколение, которое сохранило память о своем прародителе, полковом священнике Арсении Ключанском.

В музее Ленинградского блокадного детского дома № 26 станицы Надежной мне посчастливилось увидеть семейную реликвию — сундук, некогда принадлежавший семье отца Арсения, со скромной надписью: «Сундук первого священника», без указания фамилии и имени (сами сотрудники музея говорят, что ничего не слышали об Арсении Ключанском). Когда-то этот сундук был отдан праправнучкой Ключанского — Еленой Андреевной Каверза (моей двоюродной бабушкой) основательнице музея Нине Семеновне Долгополовой, с которой они были дружны. К слову сказать, директором детского дома в станице Надежной во время Великой Отечественной войны, в котором нынче и располагается музей, была Мария Яковлевна Мещерякова — одна из правнучек отца Арсения и мама известного российского режиссера Евгения Цимбала.

Возвращаясь к братьям отца Арсения Ключанского, следует отметить, что на данный момент мне

удалось достоверно установить лишь двоих: Стефана Георгиевича и Алексея Георгиевича. Имена еще двух остаются под вопросом из-за отсутствия документального подтверждения. Как говорилось выше, они были священнослужителями. Стефан Ключанский — самый младший из братьев, оставил значимый след в истории станицы Махошевской, написав летопись станицы, которая чудом сохранилась до наших дней.

По увольнении в 1852 году из низшего отделения Воронежской Духовной семинарии в епархиальное ведомство орденом обер-священника Кавказской армии, протоиерея Михайловского от 30 декабря 1853 года за № 1275 по прошению определен причетником в станицу Прочно-Окопскую Кубанского казачьего войска. В 1855 году по ходатайству главного священника, преосвященнейшим Ионикием епископом Кавказским посвящен в стихарь. В 1856 году по ходатайству главного священника Кавказской армии, протоиерея Гумилевского с утверждения Грузино-Имеретинской канторы Святого Синода, высокопреосвященнейшим архиепископом, экзархом Грузии Иоаникием посвящен в дьяконы к Митрофаньевской церкви станицы Прочно-Окопской.

В 1862 году по ходатайству главного священника Грузино-Имеретинской канторы Святого Синода, высокопреосвященнейшим архиепископом, экзархом Грузии рукоположен во священники к Покровской церкви [6], только что заселявшейся станицы Махошевской, где с момента поступления священствовал сорок три года. Жители за долговременное служение отца Стефана настолько сроднились с ним, что все называли его не иначе как «батенька». За службу по духовному ведомству отец Стефан Ключанский был награжден набедренником и скуфьей, а за преподавание Закона Божия в станичном училище в течение почти всей своей службы высочайше награжден орденом Святой Анны III степени [1].

Отец Стефан в разное время взял и воспитал более двадцати малолетних сирот и выдал замуж с приданым, какое полагается обыкновенно в простом быту [1].

Стефан Георгиевич умер в 1905 году и похоронен при храме под сенью лип и берез, которые были посажены его руками еще при заселении станицы. В годы

советского лихолетья, когда храмы уничтожались, а могилы священников осквернялись, верующие тайно перезахоронили тело отца Стефана на кладбище, сумев сохранить память о том, кто здесь похоронен. Спустя десятилетия повалившийся надмогильный железный крест вновь восстановили неравнодушные жители. Среди известных мне имен, по чьей инициативе была проведена эта работа, — Светлана Михайловна Литвинова (следует отметить, что под ее руководством был создан первый поисковый отряд «Красные следопыты», который занимался поиском материалов о трагедии поселка Михизеева Поляна в годы Великой Отечественной войны, а также открыта историко-краеведческая музейная комната) и Борис Алексеевич Гурин, человек, с особым трепетом сохранивший важнейшие документы, связанные с историей станицы Махошевской.

Удалось также установить детей отца Стефана Ключанского. Дочь Александра вышла замуж за дьякона станицы Константиновской Сосновского, другая дочь — Мария — вышла замуж за священника станицы Дондуковской Лебедева [6]. Известно, что Николай Васильевич Лебедев был первым священником в станице и за три года служения в Дондуковской на собранные средства построил здание для церковно-приходской школы «с квартирой о четырех комнатах для учителя и первый открыл школу в станице». Спустя несколько лет, в 1897 году, занялся подготовкой строительства в станице новой церкви взамен молитвенного дома. Открытие Свято-Ильинского храма состоялось в 1904 году. «Этот большой каменный храм с тринадцатью куполами имел богатое убранство, великолепные росписи и прекрасную акустику. Колокольня насчитывала четыре колокола, самый большой из которых весил 16 пудов 25 фунтов (273 кг). При храме были открыты две одноклассные школы для мальчиков и девочек, а также министерское училище на 150 учащихся» [7]. Достоверно известно, что у Марии Стефановны и отца Николая было двое детей: Александр и Клавдия.

В Свято-Ильинском храме служил псаломщиком еще один сын отца Стефана — Григорий. А самый старший, Василий, «был при отце» [6].

Дети третьего брата — отца Алексея Георгиевича

Ключанского (выпускника Воронежской семинарии 1846—1847 годов), который был назначен в 1862 году священником в станице Кужорской, тоже продолжили семейную традицию. Сын Николай какое-то время будет служить в станице Кужорской, затем в станице Гиагинской и станет благочинным XV округа. «За труды по должности благочинного церквей и законоучителя местной школы» он награжден набедренником [8]. В «Ставропольских епархиальных ведомостях» имеется много упоминаний о его делах и заслугах.

Чудом сохранилось фото Николая Алексеевича, которое мне прислала Татьяна Верещагина, поведав, что за этой фотографии стоит целая история, заслуживающая отдельного рассказа: не один год исследований по установлению личностей священников, запечатленных в альбоме, где и хранилось фото Николая Ключанского.

Трагически сложилась судьба брата отца Николая — священника Василия Алексеевича Ключанского. Он был убит большевиками в 1918 году.

В 1870 году после окончания курса Ставропольского духовного училища Василий служил псаломщиком в станице Даховской и станице Махошевской с 1872 по 1885 год. В 1885 году определен диаконом в станицу Отрадную, где занимал сначала должность законоучителя, а потом учителя церковной школы. С 1889 года занимал должность смотрителя отраденского епархиального свечного склада. В 1892 году Василий был рукоположен в сан священника и определен на службу в станицу Староджерелиевскую. В том же году, согласно прошению, перемещен к церкви станицы Полтавской, где состоял заведующим и законоучителем в церковной школе. В 1901 году был назначен священником в Богоявленскую церковь станицы Поповичевской Таманского отдела Кубанской области, где тоже трудился на ниве просвещения.

Василий Алексеевич Ключанский был награжден набедренником, фиолетовой скуфьей, камилавкой. Имел многочисленные награды за преподавательскую деятельность и три медали: на Александровской ленте в память императора Александра III; в память 25-летия церковно-приходских школ; а также медаль в па-

мять 300-летия Царствующего Дома Романовых [9].

Согласно ведомости о церкви за 1902 год станицы Поповичевской, отец Василий был вдов, имел несколько детей: дочь Марию, которая была замужем за дьяконом Будниковым в селе Федоровка, Анастасию, замужем за псаломщиком Александром Кудрявцевым в станице Староминской, Параскеву, замужем за учителем станицы Николаевской Николаем Пучковым, Александру, жившую при отце. Две младшие дочери — Зиновию и Анну, учившихся в Екатеринодарском Епархиальном училище [9].

Отец Василий Алексеевич Ключанский был убит 27 июля 1918 года вместе со священником отцом Николаем Васильевичем Соболевым во время богослужения в храме проходящими красноармейскими частями по подозрению в «сочувствии кадетам и буржуям» и «осуждении большевиков в проповедях». Там же были расстреляны двенадцать пожилых жителей села: казаков, крестьян, мещан, в том числе женщин.

После расстрела тела убитых лежали на июльской жаре без погребения — тела охраняли и не давали предать земле. За попытку сделать это могли расстрелять. Но 3 августа 1918 года верующие тайно под покровом ночи сумели вывезти тела своих пастырей. Совершил погребение по православному обряду священник отец Иоанн Иларионов недалеко от хутора Казачьего на кургане близ дороги (ныне это поселок Советский, Тимашевский район). На месте погребения в настоящее время установлен памятный крест [10].

К сожалению, после 20-х годов XX века сложно проследить судьбы потомков Ключанских, которых было немало. Так, например, последним документальным упоминанием о дочери отца Стефана Ключанского и ее супруге является то, что в 1928 году их имена и дочери Клавдии были занесены в список лиц, «лишенных избирательных прав по станице Дондуковской», в качестве обоснования указано «священнослужитель». Согласно «Инструкции Всероссийского ЦИК о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов» от 13 октября 1925 года, в каждом населенном пункте ежегодно составлялись списки лиц, лишенных избирательных прав, их называли «лишенцы». В списки надлежало

включать священнослужителей, бывших офицеров Белой армии, торговцев, земледельцев, применяющих наемный труд, и других. Они фактически исключались из общества и не имели тех минимальных прав и благ, которое оно предоставляло [7].

Предполагаю, что многие из Ключанских, к сожалению, не пережили советское время.

Совсем недавно в виртуальном музее казачьего зарубежья среди эмигрантов Болгарии за 1929 год мне попалось имя священника Федора Ключанского, который окончил Ставропольскую семинарию. В деревне Евренозово, общине Звездец, под его руководством построили церковь и освятили в 1931 году. Однако в 1976 году ее взорвали и сравняли с землей [11]. Встретился мне и ученый, один из создателей системы горного образования в СССР – Георгий Васильевич Ключанский, который родился в Ставрополе в 1883 году. В 1937-м был арестован «за антисоветскую агитацию», 29 декабря приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в лагерь.

Был расстрелян ориентировочно в 1937–1938 годах.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что эти люди могут быть внуками первых братьев-переселенцев Ключанских. Однако это всего лишь теория.

Впереди обширная и кропотливая работа по установлению отчеств и родства Ключанских, имена которых так часто встречаются в «Ставропольских епархиальных ведомостях» вплоть до закрытия газеты в 1918 году. И очень хочется надеяться, что и сейчас среди священнослужителей отыщется далекий потомок первых братьев-переселенцев, взрастивших большую и красивую ветвь священников на Кавказе. ■

Я благодарю всех, кто откликнулся на мои вопросы в поисках!

Особую благодарность выражаю:

Борису Алексеевичу Гурину (г. Майкоп),

Ольге Анатольевне Ложкиной (с. Успенское),

Татьяне Верещагиной (г. Саров).

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Ставропольские епархиальные ведомости. 1905. № 20. С. 1167.
2. Вихрева А. А. Начало церковного строительства в казачьих и сельских поселениях Северного Кавказа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1433.
3. ГАСК. Ф. 135. ОП. 39. Д. 244.
4. Бабич А. В. Православные приходы Краснодарской и Кубанской епархии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в послевоенный период на примере Отрадненского благочиния // Отрадненские историко-краеведческие чтения. Выпуск III. Материалы Международной научной конференции. Армавир-Отрадная. 2015.
5. Ставропольские епархиальные ведомости. 1888. № 5. С. 179.
6. ГАСК. Ф. 135. ОП. 62. Д. 691.
7. Плотникова В. Б. Николай Васильевич Лебедев, первый священник станицы Дондуковской. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://aetaranow.narod.ru/konkurs04a.html>
8. Ставропольские епархиальные ведомости. 1888. № 9. С. 351.
9. ГАСК. Ф. 135. ОП. 60. Д. 502.
10. Ключанский Василий Алексеевич. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kuz3.pstbi.ru/bin/nkws.exe/ans/nm/>.
11. Они оставили свой след здесь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://museum.passion-don.org/они-оставили-свой-след-здесь/>.
12. Ложкина О. А., Бондаренко А. А. Историческое описание Отрадненского благочиния: [посвящается 95-летию образования Кубанской епархии 50-летию открытия Ильичевского городища]. Краснодар, 2011.
13. Заклейменные властью. Ключанский Георгий Васильевич. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Kv.html#kv.77a>.



ГОСТЬ НОМЕРА

*Александр
Федорченко*





Архив Андрея Нейжмака

АНДРЕЙ НЕЙЖМАК

Родился в 2003 году в Ростове-на-Дону. Студент 3-го курса факультета журналистики Кубанского госуниверситета. Публиковался в журналах «Родная Кубань», «Художественное слово» и других СМИ. Член Союза журналистов России. Корреспондент редакции «Царьград Юг». Живёт в Краснодаре.



Архив Александра Федорченко

АЛЕКСАНДР ФЕДОРЧЕНКО

Родился в 1942 году в Тихорецке. Писатель, филолог, журналист. 18 лет был редактором отдела прозы и поэзии журнала «Родная Кубань». Автор книги «П. П. Лукьяненко» в серии «ЖЗЛ», а также множества работ о русских писателях. Живёт в Краснодаре.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я ЖДУ, ЧТО ЛИХОНОСОВ ВЕРНЕТСЯ»

Беседа с Александром Федорченко

Кубань подарила России нескольких великих классиков литературы. Среди них больше всех выделяются Юрий Селезнев и Юрий Кузнецов. Однако есть и еще один писатель, который хоть и не родился в Краснодарском крае, но жил на Кубани и работал на ее благо. Речь про Виктора Ивановича Лихоносова.

В преддверии 88-летия Лихоносова я захотел увидеться с людьми, которым Виктор Иванович доверял свою дружбу. У себя в небольшой квартире, стены которой защищают огромные книжные полки, меня принял друг и коллега классика Александр Георгиевич Федорченко. Комната моего собеседника была целой галактикой. У входа — планета исторической литературы, дальше — философия и мемуары, напротив — зарубежная литература, шкаф посередине — русская классика. А возле письменного стола живет небольшой мир близких людей Александра Георгиевича — фотографии с семьей, друзьями и студентами, книги Селезнева и Лихоносова, вырезки из газет.

Мы говорили о жизни и творчестве Виктора Лихоносова, журнале «Родная Кубань», выяснили, почему писателей Краснодарского края кубанцы стали забывать.

А. Н.: Александр Георгиевич, расскажите, как вы познакомились с Виктором Ивановичем?

А. Ф.: Это было в 1973 году в Москве. Мне позвонил Юрий Селезнев (он тогда аспирантом был): «Сейчас мы едем с Витей Лихоносовым. Ты выйдешь на Юго-Западной? И мы из Внуково полетим в Краснодар». Сели все вместе в такси. Я так смотрел на Лихоносова искоса, ведь в первый раз человека видел, не в своей тарелке себя чувствовал. А в Мо-

скве снег лежал хороший, белый. Рейс задерживался. Лихоносов во Внуково ко мне подсел и сказал: «Ну я смотрю на тебя: ты какой-то надутый. Ты чего надулся-то?»

Когда уже я был в Краснодаре, меня Селезнев в письме спрашивал, заходил ли я к Лихоносову. Добавил он еще, что жить в одном городе с Витей и не встречаться с ним — некрасиво. Тем более мы с ним полдня во Внуково тогда вместе были. Как мне Селезнев говорил, Лихоносов скучал в Краснодаре, жаловался на непонимание и козни, на одиночество. В общем я после этого письма Селезнева пошел к Виктору Ивановичу. Один раз пошел. Затем — второй, третий...

А. Н.: Часто ли Виктор Иванович принимал у себя гостей?

А. Ф.: Не скажу, что каждый день кто-то заходил к нему, но гости были. Как-то я пришел к Лихоносову в гости, а у него в квартире на улице Ленина сидел Иван Зубенко, глава писательской организации. Нередко у Виктора Ивановича появлялся Виталий Петрович Бардадым. У Бардадыма была одна особенность: он всегда все записывал у себя в блокноте. Во время очередной встречи — почти перед самой смертью Виталия Петровича — он мне сказал: «Друг мой, 32 года назад ты приходил в гости к Виктору Ивановичу и сказал...» Я был удивлен, что Бардадым все это помнит. Я уже давно забыл, что было 32 года назад. «А у меня все это записано», — отвечал хроникер (смеется. — Прим. А. Н.) Виталий Петрович.

А. Н.: Какую роль, помимо знакомства, в ваших отношениях с Лихоносовым сыграл Селезнев?

А. Ф.: Сыграл в общем-то Юрий Иванович большую. Как-то раз он позвонил мне и сказал: «Я тут подумал над вашей судьбой (речь про Федорченко,

Лихоносова и Бардадыма. — А. Н.). Вам в Краснодаре будет очень трудно. Вы будете везде не ко двору. Я хорошо знаю местную публику. Так что держитесь трое вместе. Я не говорю, что вы должны что-то вместе сколотить. Но будьте рядом». Так и было.

А. Н.: *«Сколотить» все-таки что-то удалось ведь?»*

А. Ф.: Да, в 98-м году на свет появился журнал «Родная Кубань». Мы рассчитывали, что будет работать человек восемь в журнале. Так сначала и было. Постепенно состав становился все меньше и меньше. В итоге в редакции работали четыре человека: Лихоносов — главный редактор, его зам, я — редактор отдела прозы и поэзии, а также оператор набора.

А. Н.: *Как вы с Лихоносовым планировали вести журнал? Какие цели преследовали?*

А. Ф.: Перед изданием первого выпуска мы с Виктором Ивановичем много разговаривали. Задавали вопросы, что такое журнал, как он строится. Мы представили, что издание — это человек, ребенок. У него должны быть ручки, ножки. Продумывали с первого номера рубрики. Какие-то из них пропадали, какие-то появлялись. Направление журнала — вызвать у людей, живущих на Кубани, не только интерес, но и чувство, что они знают что-то такое, чего никто не знает. Как будто бы читателям рассказывали истории не мы, а их дедушки и бабушки, ведь они прожили жизнь при советской власти, помнили о Гражданской войне.

А. Н.: *Какие авторы вам посылали материалы? Вышла ли «Родная Кубань» за пределы Краснодарского края?*

А. Ф.: Конечно, основными авторами журнала были кубанцы. Но через некоторое время после выхода первых номеров нам стали присылать письма со всей России.

Потом пошли материалы из-за рубежа. Это люди, которые когда-то уехали, спасались от гонений. Но они не сидели просто так, а писали. Это был большой замечательный массив. И журнал от него, конечно, выигрывал.

А. Н.: *Нам сейчас легко представить работу современного журнала. У каждого издания есть*

электронная почта. На нее авторы присылают свои тексты. Как проходила работа в редакции «Родной Кубани»?

А. Ф.: В принципе отличий немного. Тексты приходили не по электронной, а по обычной почте. Мы много читали. Вычитывали до буквы. Сначала смотрел я. Потом отдавал Виктору Ивановичу. Он мог у меня что-то спросить, сделать пометку, исправить часть либо при согласии автора урезать текст или попросить того дополнить.

Я сидел за столом и читал. Настолько привык к своей работе, что не слышал ничего вокруг.

Часто желающие опубликоваться приходили к нам в редакцию, пытались доказать, что именно их материалы необходимо поместить в следующий номер. Нам же приходилось часто отказывать. Например, один раз нам принесли целую драму. Ну а какую драму мы опубликуем в маленьком журнале? У нас не было места для такого большого произведения.

В первое время редакцию «завалили» стихами. Было очень много посредственной, несовершенно и любительской поэзии. Постепенно о Викторе Ивановиче пошла даже речь, что он жестокий, что он переломал судьбы. Сам же Лихоносов обычно говорил так: «Если я что-то увижу, то обязательно возьму, подскажу, выправлю сам. Ну такого, чтобы я отбрасывал чьи-то по-настоящему достойные произведения, не было». Я это могу подтвердить. Стоящие тексты всегда проходили и появлялись на страницах «Родной Кубани».

Публиковали мы и Николая Зиновьева. Это было примерно в тот период, когда скончался Юрий Кузнецов. На странице одного из современных выпусков «Родной Кубани» Лихоносов написал про Зиновьева так: «Это поэт для всех монашествующих». Шутка, конечно.

А. Н.: *Изменилась ли работа журнала с момента начала и до вашего ухода в 2016 году?*

А. Ф.: Мы в штатном режиме выпускали «Родную Кубань». Направление оставалось таким же. Но в какой-то момент до Виктора Ивановича донеслось, что какие-то люди ворчат, что, мол, журнал не стал родным для кубанцев. Недоброжелатели твердили, что «Родная Кубань» должна быть не

такой. Однако мы продолжили идти по своему плану и выпускать то, что действительно заслуживало внимания.

А. Н.: Александр Георгиевич, кем для вас был Лихоносов? Другом? Или старшим коллегой?

А. Ф.: На обложках книг, которые Виктор Иванович дарил мне, он писал «другу». Вы знаете... (впал в долгую задумчивость Федорченко. — А. Н.) У меня не было брата. Лихоносов им стал. Строгий старший брат. Что касается литературы, я многому у него учился. Именно практической хватке. Но я не подражал ему, как это делают многие неопытные авторы. Писатели, особенно в ранний период своего творчества, стараются написать так, как какой-нибудь великий классик. Даже если классик написал свой текст просто, не значит, что эта простота достигнута легким путем. Простоте тоже нужно учиться.

А. Н.: Расскажите, какими еще качествами обладал Виктор Иванович?

А. Ф.: Он много читал. Он читал, считай, все газеты. Необязательно литературные. Утром бежал в киоск, как ненормальный. Само собой, брал «Литературку» и другие, что связаны с искусством. Набирал множество газет, засовывал под мышку и бежал читать. Родные не всегда понимали его. Но ему нужно было это: и телефон, чтобы общаться с товарищами, и газеты, и прогулки, на которых он знакомился с интересными людьми, и радио.

А. Н.: А как Виктор Иванович относился к телевидению?

А. Ф.: Телевизор он смотрел ограниченно и только то, что ему хотелось. Пять-десять минут посмотрит канал и переключит. Он знал про все. Так и нужно. Писатель — не просто какой-то ученый или профессор. Профессор знает свое узкое направление. В вопросах более обширных он «барахтается». Человек, занимающийся литературой, должен знать обо всем.

У Виктора Ивановича всегда с собой была куча ручек. Он их постоянно менял. «Паркера» у него, сколько помню, никогда не было. Привозил отовсюду блокнотики, тетрадки.

А. Н.: Александр Георгиевич, как вы думаете, почему Лихоносов влюбился в Кубань?

А. Ф.: Как ему могла не понравиться Кубань после того, как он пожил в суровой Сибири? Здоровье у него никакое было. Болели и мать с отчимом. В Пересыпи у них появился дом, неказистая хибарка. Отчиму в Сибири сказали, что скоро ему конец. Когда переехал сюда, то прожил еще 12 лет. В Пересыпи действительно целебный легкий воздух.

Полезен для человека и ракушечный пляж Тамани и Пересыпи. На таком пляже Лихоносов часто писал. Когда я приехал с Виктором Ивановичем к его матери, то мы пошли к морю. Лихоносов, придя на пляж, сказал мне: «Смотри, вот тут я роман заканчивал. Писал по утрам, пока тут шума и крика не было». Как только наступала жара, он уходил — не выносил солнца.

А. Н.: Получается, Виктор Иванович писал больше ночью?

А. Ф.: Да, так и было. Помню день, когда я часов в десять утра ходил по двору. Вдруг выходит из дома Лихоносов. «Ну что такое? Соловей все утро пел», — сказал я ему. «Какой соловей? Нет тут никаких соловьев», — отвечал он. «Понятно, что нет, потому что просыпаться в десять часов утра — это поздно. Соловей на заре поет», — пошутил я.

А. Н.: Как вы относитесь к тезису, который используют многие недоброжелатели Лихоносова, что он очень мало написал за свою жизнь?

А. Ф.: Давайте сравним тот, может быть, небольшой творческий багаж Виктора Ивановича с багажом писателей-графоманов, которые за свою жизнь выпустили не просто собрание сочинений в четыре-пять томов, а в целых пятнадцать. Я представляю, что у них там, у графоманов, написано (с насмешкой произнес. — А. Н.). У этих людей десятки помощников и соавторов.

С одной стороны, Лихоносов мало написал. С другой стороны, он не владел тысячами гектарами земли, у него не было поместья или сахарного завода. Он работал в журнале, чтобы как-то обеспечивать семью.

Лихоносов часто себя укорял. Говорил, что он писатель, а не издатель. Задавал вопрос, зачем вообще согласился вести журнал. «Мне надо писать. Я писатель, — нередко повторял он. — Я не кичусь

этим. Я ничего не умею делать, кроме этого. Я этим все время занят». В конце жизни у него были скрычены пальцы именно потому, что он много писал.

А. Н.: *Как вы думаете, почему Лихоносов и другие известные писатели-современники (Белов, Распутин и другие) с 90-х годов посвятили большую часть своего творчества публицистике и общественной деятельности? Это ведь была явная тенденция.*

А. Ф.: Это было сложное время, острое время. Нам в редакцию звонили и говорили, что читать публицистику Виктора Ивановича интересно. Но хотелось людям видеть его прозу.

Особенно задел Лихоносова конфликт в Донбассе. Он звонил мне и говорил, что видел по телевизору настоящую войну, плачущих детей, женщин, у которых мужья отправились на фронт. Задавался он вопросом о будущем России. Все это откладывалось у него в душе. В такое время Лихоносов не мог писать прозу.

Иногда Виктора Ивановича заставляли писать недоброжелатели. Велась борьба с ними. Но он тоже, как говорится, сдачи давал. Его полемические работы были лучше, острее и похлеще текстов всяких записных критиков. На этой стезе он блестяще проявил себя.

Много Лихоносов отдал и борьбе с местной бюрократией. Известны его «Письма к власти». Это человеческий документ и документ времени.

А. Н.: *Почему Виктора Ивановича не ценят за пределами Краснодар?*

А. Ф.: Может быть, сейчас не ценят. Раньше он был известен по всей России. Причем знали его не по «Нашему маленькому Парижу». В первую очередь ценили рассказы. Как-то Лихоносов сказал одну вещь: «Эх, тут один человек звонил мне из Москвы. Говорил, что я лирический писатель». Непонятно, то ли с сожалением, то ли с несогласием сказал он это.

А. Н.: *А как вы считаете, уместно ли и должно ли называть Виктора Ивановича представителем так называемой лирической прозы?*

А. Ф.: Это не совсем плохо. Лирика — это высшее проявление человеческого духа. Представителем лирической прозы называть его — нормально и даже хорошо. Он в своих рассказах почти все о себе напи-

сал. Этого, кажется, никто не заметил.

А. Н.: *Менялся ли характер Лихоносова в течение жизни? Кажется, что он в публицистике всегда был тверд, в прозе — мелодичен и, как вы сказали, лиричен.*

А. Ф.: Виктор Иванович сильно изменился после смерти матери. Он до этого назубок знал имена и отчества, даты рождения людей, места и многое другое. Мог ответить, не задумываясь. А после того, как не стало Татьяны Андреевны, он сидел как-то и говорил мне: «Да... Какой я стал? Как же я помнил хорошо все раньше... Теперь вот забыл...» Это было угасание человеческого духа. От этого никуда не денешься.

А. Н.: *В одном из своих текстов вы пишете следующее: «Нынче о Юрии Кузнецове написано, кажется, больше, чем им самим. И только Кубань показывает вялотекущий градус оценки его творчества. Место в музее для его книг, библиотека его имени на Гидрострое — это все?» У нас в крае о Кузнецове, помимо «Родной Кубани», не пишут. Не кажется ли вам, что подобная ситуация возникла сегодня в Краснодарском крае и с наследием Лихоносова и Селезнева? Кажется, что, кроме журфака КубГУ, который ежегодно проводит Селезневские и Лихоносовские чтения, классиков отечественной словесности Кубани забыли.*

А. Ф.: Это атмосфера «творческих» людей. «Творческие» люди завистливые. Наша местная писательская среда не хочет что-либо делать. Видимо, обиделись на Виктора Ивановича. Или он их обидел. Но при чем здесь это? Общественное положение писателей и их начальников обязывает чтить память о великих литераторах.

К сожалению, забывать настоящих классиков на Кубани — тенденция. Сначала Кузнецов и Селезнев. Теперь вот Лихоносов... Когда я работал с Селезневым в сельхозинституте на кафедре русского языка и учил иностранцев, у Юрия Ивановича появились первые публикации. Кому-то попали в руки его тексты. И кто-то из них мне сказал примерно так: «Ой, Селезнев даже на кафедре не мог выступить ни разу. А вообще я знаю, что у него есть дядя в Москве. Вот он ему и пишет». Вроде бы люди работали в высшем учебном заведении, а имели обывательский ум. Ли-

хоносов тоже через это прошел. Он заматерел, спокойно к подобной критике относился.

Еще до «Нашего маленького Парижа» Лихоносова зачислили чуть ли не в ряды контрреволюционеров. Задавали вопросы, почему ему приходят письма и бандероли из Франции от жены Бунина, Адамовича и Зайцева. Местные «критики» говорили, что Лихоносов оторвался от действительности. А кончилось тем, что улаживать конфликт между вышеупомянутыми «критиками» и Виктором Ивановичем приехал Сергей Владимирович Михалков. Он-то знал, кто такой Лихоносов и за что его надо ценить. Михалков посоветовал Виктору Ивановичу написать какой-нибудь рассказец, чтобы «критики» отвязались (смеется. — А. Н.). Сергей Владимирович, будучи автором советского гимна, был намного умнее недоброжелателей Лихоносова.

А насчет сегодняшнего дня — создается впечатление, что атмосферу повсеместного забвения Лихоносова нагнетают специально. Жалко... (вздыхает. — А. Н.).

А. Н.: *Как казачество, которое Лихоносов неоднократно воспевал в своих текстах, сохраняет то, что писал Виктор Иванович? Я лично не слышал, чтобы о творчестве Лихоносова, кроме публикаций «Родной Кубани», кто-то упоминал.*

А. Ф.: Я думаю, что если помнят, то самую малость. Я ничего не слышал о том, что казачество как-то участвует в прославлении творчества Виктора Ивановича. В одном из наших последних разговоров Лихоносов мне сказал: «Зачем я писал о казаках? Нужно было писать о себе, о своем роде». Я думаю, он имел в виду столь малую благодарность за «Наш маленький Париж» ...

А. Н.: *Вы общались после смерти Виктора Ивановича с его родственниками?*

А. Ф.: Я набрал как-то по телефону его дочку Настю: «Отец последний раз звонил мне и сказал, что привел дела в порядок и стопочку отложил, чтобы мне досталось, потому что иначе все это окажется на мусорке. Настя, пожалуйста, не забудь про то, что отец просил». По существу, в ответ ничего я не услышал и больше не звонил. И звонить не хочется. Особенно после того, как узнал о продаже рукопи-



Ю. Селезнев и А. Федорченко.

Архив Александра Федорченко



В. Лихоносов, Ю. Лебедев и А. Федорченко.

Архив Александра Федорченко



Берег Азовского моря в Тамани.

Андрей Нейжмак

сей. Я Насте старался советовать, что надо делать с наследием. В ответ — пустой звук.

А. Н.: *Вы были как-то знакомы с Анастасией?*

А. Ф.: Да, конечно. Хорошо ее знаю. Настя окончила филфак. Она работала одно время у нас в редакции. Но толку из этого не вышло.

А. Н.: *Как Лихоносов относился к своей дочери и внукам?*

А. Ф.: Он все время задавался вопросом, как они будут дальше жить без него. Мог подолгу разговаривать с родней, просто молчать в трубку и слушать голоса дочери, внуков. Он был счастлив в эти моменты.

А. Н.: *Расскажите об отношениях Виктора Ивановича с его женой.*

А. Ф.: Когда Ольга болела и не вставала с кровати, Лихоносов каждый день ходил то в магазин, то в аптеку. «Обо мне будут вспоминать так: "А, это тот, что каждый вечер шел обвязанный целлофановыми пакетами"», — рассказывал мне на одной из последних встреч Виктор Иванович. Он старался понемно-

гу хозяйничать в квартире. Хотя это не всегда у него получалось. Из-за болезни Ольги он подолгу нигде не засиживался и старался быть дольше рядом с ней. Так они и умерли в один день.

А. Н.: *Извините за возможно столь личный вопрос, как вы восприняли смерть Виктора Ивановича?*

А. Ф.: Все три года после смерти Лихоносова я мысленно разговариваю с ним. И все мне кажется, что он куда-то уехал и скоро позвонит. Так до его смерти и было: уехал к Шолохову, к Толстому, в Москву. И все равно снова появлялся. Я знал, что скоро Виктор Иванович появится. Но уже не появится...

Я вот, сколько его нету, три года, хочу написать о Викторе Ивановиче. Мой стол, как вы можете заметить, полон книгами — его и о нем, письмами, вырезками из газет, фотографиями. А я не могу собраться. Каждый день думаю, что сегодня начну.

А. Н.: *Спасибо вам за столь теплый и искренний разговор.*

А. Ф.: Взаимно! ■



Тамань. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в котором отпевали В. Лихоносова.

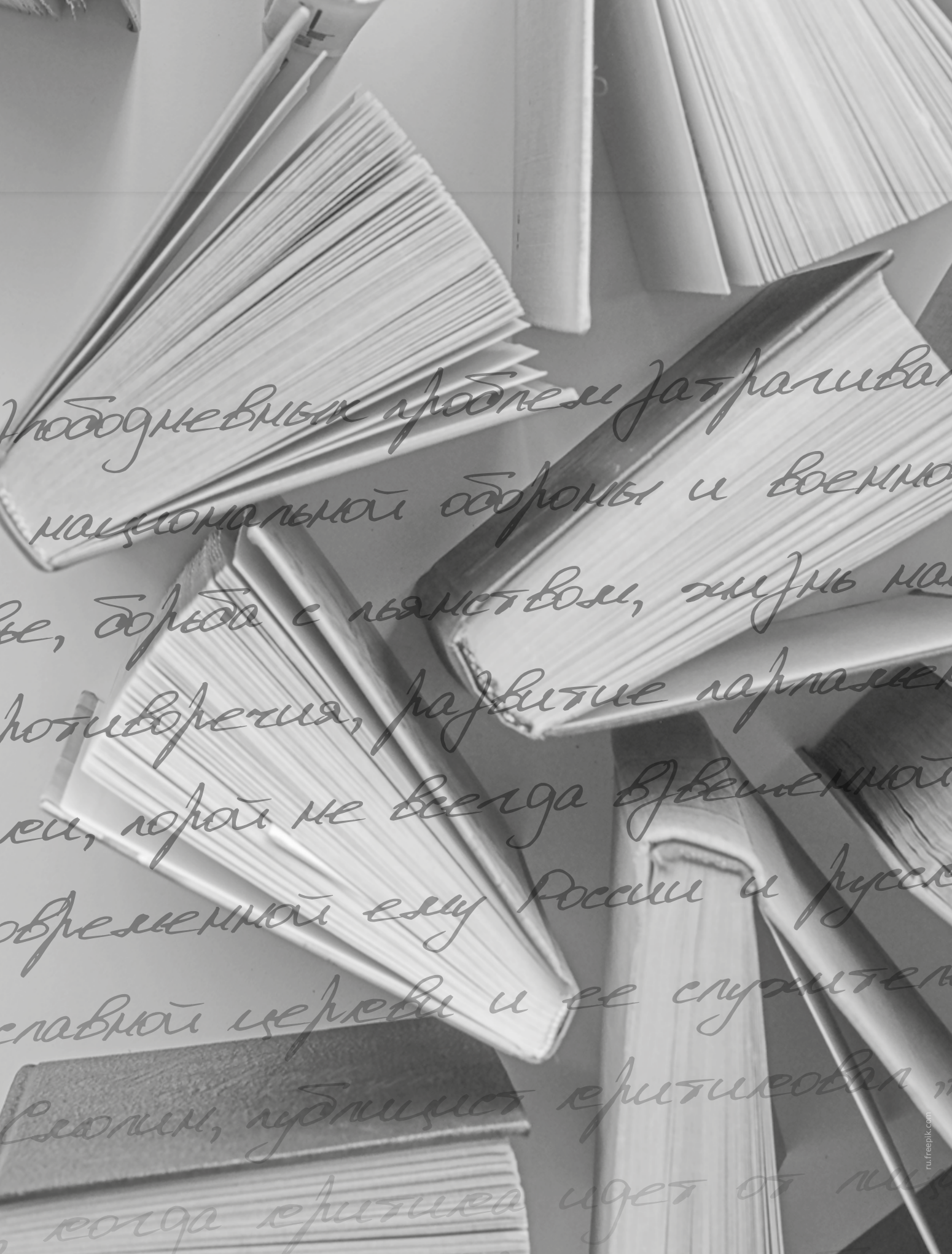


Андрей Нейжмак

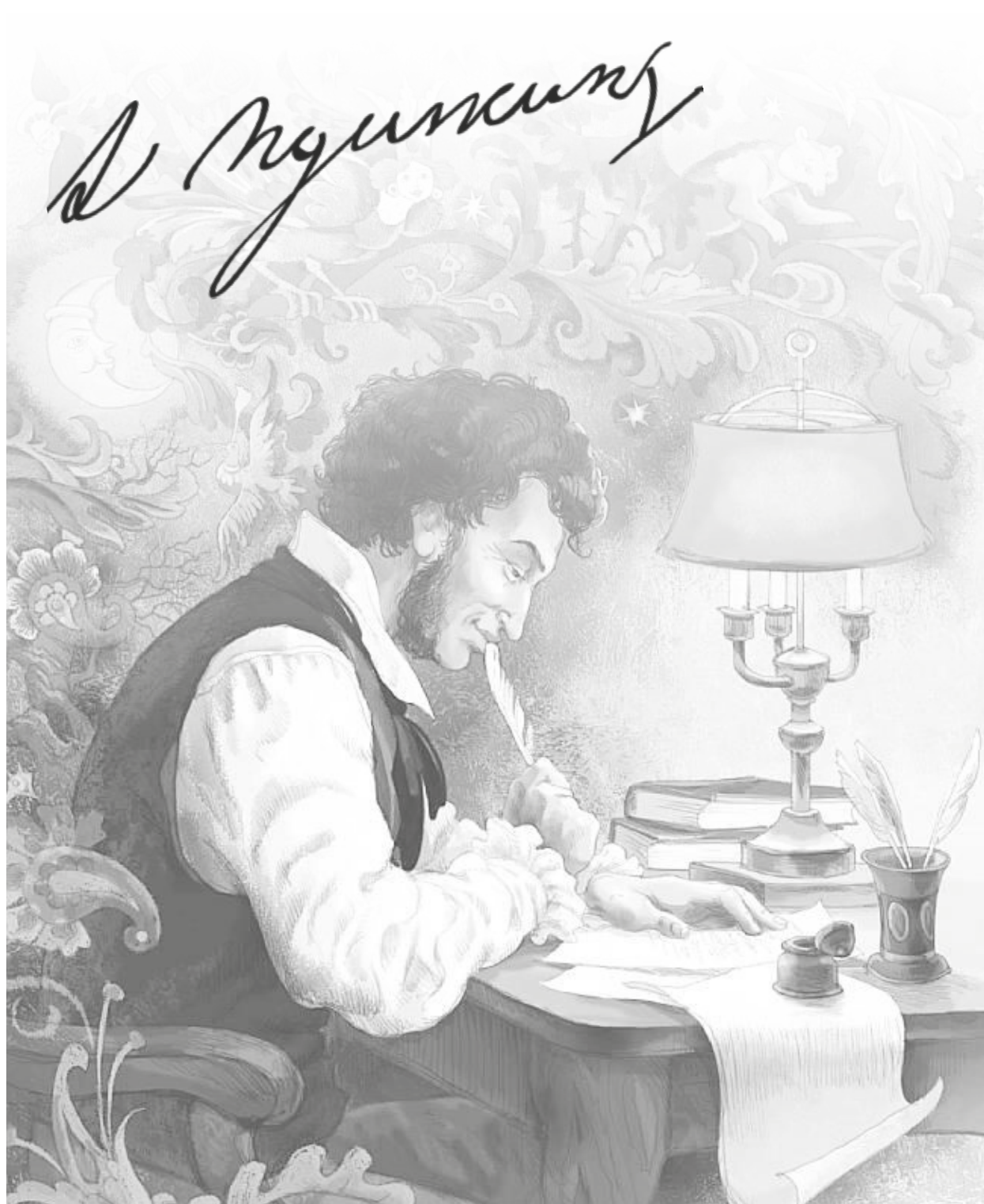
Могила В. Лихоносова на кладбище в Тамани.

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Огромное число актуальных,
в своих статьях: положение
ства страны, народное здоров
охран, международные
государстве... Много крити
ует Меньшикова в адрес
его истории, Русской право
справедливо отметил М. Б.



Пободневных проблем затрагива
национальной обороны и военно
е, борьба с пьянством, жизнь на
противоречия, развитие парламен
ли, порой не всегда ввешенной
временной ели России и русск
славной церкви и ее служителя
Сломи, публицист критиковал
когда критика идет от нас



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕОРГИЯ КОНИССКОГО, АРХИЕПИСКОПА БЕЛОРУССКОГО

(в сокращении)

Георгий Конисский известен у нас краткой речью, которую произнес он в Мстиславле Императрице Екатерине во время ее путешествия в 1787 году: «Оставим астрономам»... и проч. Речь сия, прославленная во всех наших риториках, не что иное, как остроумное приветствие и заключает в себе игру выражений, может быть, слишком затейливую: по нашему мнению, приветствие, коим Высокопреосвященный Филарет встретил Государя Императора, приехавшего в Москву в конце 1830 года, в своей умильной простоте заключает гораздо более истинного красноречия. Впрочем, различие обстоятельств изъясняет и различие чувств, выражаемых обоими ораторами. Императрица путешествовала, окруженная всею пышностью двора своего, встречаемая всюду торжествами и празднествами; Государь посетил Москву, опустошаемую заразой, пораженную скорбью и ужасом.

Но Георгий есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Жизнь его принадлежит истории. Он вступил в управление своею Епархией, когда Белоруссия находилась еще под игом Польши. Православие было гонимо католическим фанатизмом. Церкви наши стояли пусты, или отданы были униатам. Миссионеры насильно гнали народ в униатские костелы, ругались над послушниками, секли их, заключали в темницы, томили голодом, отымали у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам нашей Церкви, ругались над могилами

православных. Георгий искал защиты у русского правительства; он доносил обо всем Святому Синоду и жаловался нашему посланнику, находившемуся в Варшаве. Ревность его पुше озлобила гонителей. Доминиканец Овлачинский, прославившийся ненавистью к нашей Церкви, замыслил принести Георгия в жертву своему изуверству. В 1759 году Георгий, презирая опасности, ему угрожающие, поехал обзирать сетующую свою Епархию. Овлачинский и миссионеры возмутили в Орше шляхту и жолнеров. Они разогнали народ, вышедший с хоругвями навстречу своему архипастырю, остановили колокольный звон и с воплем ворвались в церковь, где Георгий священнодействовал. Преосвященный едва успел спастись от их сабель в стенах Кутейнского монастыря, откуда тайно вывезли его в телеге, прикрыв навозом. Другой изувер, свирепый Зенович, предводительствуя иезуитскими воспитанниками, ночью в Могилеве напал на архиерейский дом. Буйные молодые люди вломились в ворота, перебили окна, ранили несколько монахов, семинаристов и слуг; но, к счастью, не нашли Георгия, скрывшегося в подвалах своего дома.

Дерзость гонителей час от часу усиливалась. Польское правительство им потворствовало. Миссионеры своевольничали, поносили Православную церковь, лестью и угрозами преклоняли к униии не только простой народ, но и священников. Георгий снова жаловался России. Императрица Елисавета Петровна, перед самой

своей кончиною, и Государь Петр III, при своем восшествии на престол, требовали от польского двора, чтоб гонения над нашими единоверцами были прекращены; но избавление православия предоставлено было Екатерине II.

Георгий предстал перед нею в 1762 году в Москве, когда она короновалась, и вслед за русским духовенством принес ей вместе с поздравлениями тихие сетования народа, издревле нам родного, но отчужденного от России жребиями войны. Екатерина с глубоким вниманием выслушала печальную речь представителя будущих ее подданных, и когда, несколько времени спустя, Святой Синод думал вызвать Георгия и поручить в его управление Псковскую епархию, Императрица на то не согласилась и сказала: «Георгий нужен в Польше».

В 1765 Георгий явился в Варшаве и пред троном Станислава с жаром заступился за тех, которые именовались еще подданными Польши. Король поражен был его словами. Он обещал свое покровительство диссидентам, и в следующем году действительно повелел «униатским архиереям, из среды своей избрав одного епископа, прислать в Варшаву, для изыскания и постановления надлежащих мер ко взаимному успокоению враждующих». Но гордые польские магнаты, презрев посредничество России и Пруссии, отвергли справедливые требования диссидентов. Вследствие сего Екатерина повелела своим войскам двинуться к Варшаве. Там, за оградой русских штыков, созван был Сейм, учреждена согласительная Комиссия и диссидентам возвращены их прежние права.

Георгий, один из первых членов Слуцкой конфедерации, определен был в члены сей Комиссии. Он опять отправился в Варшаву и деятельно занялся объяснением древних грамот, на коих основаны были права диссидентов. Он умел приобрести уважение своих противников и даже их доверенность. «Мы за вами еще живем, сказал однажды ему униатский епископ Шептицкий, а когда католики вас догрызут, то примутся и за нас». Униаты втайне готовы были

отложиться от папы и снова соединиться с Греко-Российской церковью. Между тем Барская конфедерация, поддерживаемая политикой Шуазеля, воспламенила новую войну. Следствием оной был первый раздел Польши. Семь областей, древнее достояние нашего Отечества, были ему возвращены – и в 1773 году Георгий явился пред Екатериной, уже как подданный, радостно приветствуя избавительницу и законную владычицу Белоруссии.

С тех пор Георгий мог спокойно посвятить себя на управление своей Епархией. Просвещение духовенства, ему подвластного, было главной его заботой. Он учреждал училища, беспрестанно поучал свою паству, а часы досуга посвящал ученым занятиям. Он умер в 1795 году, будучи 77 лет от роду.

Ныне протоиерей И. Григорович издал собрание сочинений Георгия Конисского, присовокупив к книге своей любопытное и прекрасно изложенное жизнеописание Георгия Конисского.

Проповеди Георгия просты и даже несколько грубы, как поучения старцев первоначальных; но их искренность увлекательна. Политические речи его имеют большое достоинство. Лучшая из них произнесена им Екатерине, по совершении Ее коронации. Помещаем здесь несколько из его отдельных мыслей:

Для молитвы пост есть тоже, что для птицы крылья.

Когда грешник, не хотящий покаяться в беззакониях своих, молится Богородице и вопиет Ей: «Радуйся!», то приветствие сие столько же оскорбляет Ее, как и то иудейское «Радуйся!», когда распинатели Христовы, ударяя в ланиту Божественного Сына Ее, приглашали: «Радуйся, Царю Иудейский!» (Мф. 27:29). Ибо нераскаянный грешник есть новый распинатель Христов (Евр. 6:6). Да ищем убо заступления и покрова Ее, но оставим наперед грехи свои: ибо с грехами и изпод ризы Своя изринет нас.

Душа бессмертная, от бrenного тела, как птица из растерзанной сети, весело взлетевши, воспаряет в рай Богонасажденный, где вечно цветет древо жизни, где жилище Самому Христу и избранным Его. <...>

Но главное произведение Конисского остается до сих пор неизданным: История Малороссии известна только в рукописи. Георгий написал ее с целью государственной. Когда Императрица Екатерина учредила Комиссию о составлении нового Уложения, тогда депутат Малороссийского шляхетства, Андрей Григорьевич Полетика обратился к Георгию, как к человеку, сведущему в старинных правах и постановлениях сего края. Конисский, справедливо полагая, что одна только история народа может объяснить истинные требования оного, принялся за свой важный труд и совершил его с удивительным успехом. Он сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории. Не говорю здесь о некоторых этнографических и этимологических объяснениях, помещенных им в начале его книги, которые перенес он в историю из хроники, не видя в них никакой существенной важности и не находя нужным противоречить общепринятым в то время понятиям. Под словом «критика» я разумею глубокое изучение достоверных событий и ясное, остроумное изложение их истинных причин и последствий.

Смелый и добросовестный в своих показаниях, Конисский не чужд некоторого невольного пристрастия. Ненависть к изуверству католическому и угнетениям, коим он сам так деятельно противился, отзывается в красноречивых его повествованиях. Любовь к Родине часто увлекает его за пределы строгой справедливости. Должно заметить, что чем ближе подходит он к настоящему времени, тем искреннее, небрежнее и сильнее становится его рассказ. Он любит говорить о подробностях войны и описывает битвы с удивительной точностью. Видно, что сердце дворянина еще бьется в нем под иноческою

рясою (Конисский происходил от старинного шляхетского рода, и этим вовсе не пренебрегал, как видно даже из эпитафии, вырезанной над его гробом и сочиненной им самим). Множество мест в истории Малороссии суть картины, начертанные кистью великого живописца. Дабы дать о нем некоторое понятие тем, которые еще не читали его, помещаем здесь два отрывка из его рукописи.

ВВЕДЕНИЕ УНИИ

«По истреблении Гетмана Наливайки таким неслыханным варварством, вышел от сейму или от вельмож, им управлявших, таков же варварский приговор и на весь народ русский. В нем объявлен он отступным, вероломным и бунтливym и осужден в рабство, преследование и всемерное гонение. Следствием сего нероновского приговора было отлучение навсегда депутатов русских от сейма национального и всего рыцарства, от выборов и должностей правительственных и судебных, отбор староств, деревень и других ранговых имений от всех чиновников и урядников русских, и самих их уничтожение. Рыцарство русское названо хлопами, а народ, отвергавший унию, схизматиками. Во все правительственные и судебные уряды малороссийские посланы поляки с многочисленными штатами; города заняты польскими гарнизонами, а другие селения их же войсками; им дана власть все то делать народу русскому, что сами захотят и придумают, а они исполняли сей наказ с лихвою, и что только замыслить может своевольное, надменное и пьяное человечество, делали то над несчастным народом русским без угрызения совести; грабительства, насилие женщин и самых детей, побои, мучительства и убийства превзошли меру самых непросвещенных варваров. Они, почитая и называя народ невольниками, или ясыром польским, все его имение признавали своим. Собиравшихся вместе нескольких человек для обыкновенных хозяйских работ или празднеств, тотчас с побоями разгоняли, на разговорах их пытками изтязыва-

ли, запрещая навсегда собираться и разговаривать вместе. Церкви русские силою и гвалтом обращали на унию, духовенство римское, разбегавшее с триумфом по малой России для надзора и понуждения к униатству, возжено было от церкви до церкви людьми, запряженными в их длинные повозки по двенадцати человек и более. На прислуги сему духовенству выбираемы были поляками самые красивейшие из девиц. Русские церкви несогласовавшихся на унию прихожан отданы жидам в аренду, и получена за всякую в них отправку денежная плата от одного до пяти талеров, а за крещение младенцев и похороны мертвых — от одного до четырех талеров. Жиды, яко непримиримые враги Христианства, сии вселенские бродяги и притча в человечестве, с восхищением приняли за такое надежное для них скверноприбытчество, и тотчас ключи церковные и веревки колокольные отобрали к себе в корчмы. При всякой требе христианской повинен ктитору идти к жидам торжиться с ним, и по важности отправки, платить за нее и выпросить ключи; а жид при том, насмеявшись довольно богослужению христианскому и прехулившись все христианами чинимое, называя его языческим или по их гойским, приказывал ктитору возвращать ему ключи, с клятвою, что ничего в запись не отказано.

Страдание и отчаяние народа увеличилось новым приключением, сделавшим еще замечательную в сей земле эпоху. Чиновное шляхетство малороссийское, бывшее в воинских и земских должностях, не стерпя гонений от Поляков и не могши перенести лишения мест своих, а паче потеряния ранговых и нажитых имений, отложилось от народа своего и разными происками, посулами и дарами закупило знатнейших урядников римских, сладило и задружило с ними, и мало по мало согласилось первее на унию, потом обратилось совсем в католичество римское. Впоследствии сие шляхетство, соединяясь с польским шляхетством свойством, сродством и другими обязанностями, отреклось и от самой породы русской, и всемерно старалось изуро-

довать природные названия свои, приискать и придумать к ним польское произношение и называть себя природными поляками. Почему и доднесь между ними видны фамилии совсем русского названия, каковых у поляков не бывало, и в их наречии быть не могло, например: Проскура, Чернецкий, Кисель, Волович, Сокирка, Комар, Жупан и премногие другие, а с прежнего Чаплины названия Чаплинский, с Ходуна Ходневский, с Бурки Бурковский и так далее. Следствием переворота сего было то, что имения сему шляхетству и должности их возвращены, а ранговые утверждены им в вечность и во всем сравнены с польским шляхетством. В благодарность за то приняли и они в рассуждении народа русского всю систему политики польской, и подражая им, гнали преизлиха сей несчастный народ. Главное политическое намерение состояло в том, чтобы ослабить войска малороссийския и разрушить их полки, состоящие из реестровых казаков: в сем они и успели. Полки сии, претерпев в последнюю войну не малую убыль, не были дополнены другими от скарбу и жилищ казаков. Запрещено чинить всякое в полки вспоможение. Главные чиновники воинские, перевернувшись в поляки, сделали в полках великие вакансии. Дисциплина военная и весь порядок опущены, и казаки реестровые стали нечто пресмыкающееся без пастырей и вождей. Самые курени казацкие, бывшие ближе к границам польским, то от гонения, то от ласкательств польских, последую знатной шляхте своей, обратились в поляки и в их веру, и составили известные и поныне околицы шляхетския. Недостаточные реестровые казаки, а паче холостые и мало привязанные к своим жительствовам, а с ними и все почти Охочекомонные, перешли в Сечь Запорожскую и тем ее знатно увеличили и усилили, сделав с тех пор, так сказать, сборным местом для всех казаков, в отечестве гонимых; а напротив того знатнейшие запорожские казаки перешли в полки малороссийские и стали у них чиновниками, но без дисциплины и регулы: от чего в полках их видимая сделалась перемена».

КАЗНЬ ОСТРАНИЦЫ

«На место замученного Павлюги выбран в 1638 году Гетманом Полковник Нежинский Стефан Острица, а к нему придан в Советники из старого и заслуженного товариства Леон Гуня, коего благоразумие в войске отменно уважаемо было. Коронный Гетман Лянцкоронский с войсками своими Польскими не преставал нападать на города и селения малороссийские и на войска, их защищавшие, и нападения его сопровождаемы были грабежем, контрибуциями, убийствами и всех родов бесчинствами и насилиями. Гетману Острице великого искусства надобно было собрать свои войска, везде рассеянные и всегда преследуемые поляками и их шпионами; наконец собрались они скрытыми путями и по ночам к городу Переяславлю, и первое предприятие их было очистить от войск польских приднепрские города, на обоих берегах сея реки имеющиеся, и восстановить безопасное сообщение жителей и войск обеих сторон. Успех соответствовал предприятию весьма удачно. Войска польския, при городах и внутри их бывшие, не ожидая никак предприятий казацких, по причине наведенных им страхов последнюю зрадою и лютостию, над Павлюгою и другими чинами произведенною, ликовали в совершенной беспечности, и потому они везде были разбиты; а упорно защищавшиеся истреблены до последнего. Амуниция их и артиллерия достались казакам, и они, собравшись в одно место, вооруженные наилучшим образом, пошли искать гетмана Лянцкоронского, который с главным войском польским собрался и укрепился в стане при реке Старице. Гетман Острица тут его застал и атаковал своим войском. Нападение и отпор были жестокие и превосходящие всякое воображение. Лянцкоронский знал, какому он подвержен мщению от казаков за злодейство, его вероломством и зрадою произведенное над гетманом их Павлюгою и Старшинами, и для того защищался до отчаяния; а казаки, имея всегда в памяти недавно виденные ими на по-

зорище в городах отрубленные головы их собратий, злобились на Лянцкоронского и поляков до остервенения, и потому вели атаку свою с жестокостию, похожею на нечто чудовищное; и наконец, сделавши залп со всех ружей и пушек и произведши дым почти непроницаемый, пошли и поползли на польские укрепления с удивительною отвагою и опрометчивостию, и вломаясь в них, ударили на копья и сабли с слепым размахом. Крик и стон народный, треск и звук оружия уподоблялись грозной туче, все повергающей. Поражение поляков было повсеместно и самое губительное. Они оборонялись одними саблями, не успевая заряжать ружьев и пистолетов, и шли задом до реки Старицы, а тут, повергаясь в нее в беспамятстве, перетопились и загрязли целыми толпами. Гетман их Лянцкоронский, с лучшею немногою конницею, временно бросился в реку, и переправившись через нее, пустился в бег, не осматриваясь и куда лошади несли. Стан польский, наполненный мертвецами, достался казакам с превеликою добычею, состоящею в артиллерии и всякого рода оружии и запасах. Казаки по сей славной победе, воздевши руки к Небесам, благодарили за нее Бога, поборящего за невинных и неправедно гонимых. Потом, отдавая долг человечеству, погребли тела убиенных и сочли польских мертвецов 11,317, а своих 4,727 человек, и в том числе советника Гуню. Управившись с похоронами и корыстями, погнались за гетманом Лянцкоронским, и настигнув его в местечке Полонном ожидающего помощи из Польши, тут атаковали его, запершегося в замке. Он, не допустив казаков штурмовать замка, выслал против них навстречу церковную процессию с крестами, хоругвями и духовенством русским, кои, предлагая мир от гетмана и от всей Польши, молили и заклинали Богом гетмана Острицу и его войска, чтобы преклонились они на мирные предложения. По долгом совещании и учиненных с обеих сторон клятвах, собрались в церковь высланные от обоих гетманов чиновники, и написавши тут трактат вечного мира и

полной амнистии, предающей забвению все прошедшее, подписали его с присягою на Евангелии о вечном хранении написанных артикулов и всех прав и привилегий казацких и общенародных. За сим разошлись войска восвояси.

Гетман Острица, разослав свои войска, иные по городам в гарнизоны, а другие в их жилища, сам, и со старшинами генеральными и со многими полковниками и сотниками, заехал в город Канев для принесения Богу благодарственных молений в монастыре тамошнем. Поляки, отличавшиеся всегда в условиях и клятвах непостоянными и вероломными, держали трактат с присягою, в Полонном заключенный, наравне со всеми прежними условиями и трактатами, у казаков с ними бывшими, то есть, в одном вероломстве и презорстве; а духовенство их, присвоив себе непонятную власть на дела Божеские и человеческие, определяло хранение клятв между одними только католиками своими, а с другими народами бывшие у них клятвы и условия всегда им разрешало и отметало, яко схизматические и суду Божию не подлежащие. По сим странным правилам, подлым коварством сопровождаемым, сведавши поляки чрез шпионов своих жидов о поездке гетмана Острицы с штатом своим без нарочитой стражи в Канев, тут его в монастыре окружили многолюдною толпою войск своих, прошедших по ночам и байракам до самого монастыря Каневского, который стоял вне города. Гетман не прежде узнал о сем предательстве, как уже монастырь наполнен был войсками польскими, и потому сдался им без сопротивления. Они, перевязав весь штат гетманской и самого гетмана, всего тридцать семь человек, положили их на простые телеги, а монастырь и церковь тамошние разграбили до последка, зажгли со всех сторон и сами с узниками скоростижно убрались и прошли в Польшу скрытыми дорогами, боясь погони и нападения от городов. Приближаясь к Варшаве, построили они узников своих пешо по два, вместе связанных, а каждому из них накинули на шею веревку с петлею, за которую ведены они

конницею по городу с триумфом и барабанным боем, проповедуя в народе, что схизматики сии пойманы на сражении, над ними одержанном; а потом заперты они в подземные тюрьмы и в оковы. Жены многих захваченных в неволю чиновников, забравши с собою малолетних детей своих, отправились в Варшаву, надеясь умиловить и подвигнуть на жалость знатность тамошнюю трогательным предстательством детей их за своих отцов. Но они сим пищу только кровожадным тиранам умножили и отнюдь им не помогли; и чиновники сии, по нескольких днях своего заключения, повлечены на казнь без всяких разбирательств и ответов.

Казнь она была еще первая в мире и в своем роде, и неслыханная в человечестве по лютости своей и коварству, и потомство едва ли поверит сему событию, ибо никакому дикому, и самому свирепому японцу, не придет в голову ее изобретение; а произведение в действо устрашило бы самых зверей и чудовищ.

Зрелище оное открывала процессия римская со множеством ксендзов их, которые уговаривали ведомых на жертву малороссиян, чтобы они приняли закон их на избавление свое в чистцу; но сии, ничего им не отвечая, молились Богу по своей вере. Место казни наполнено было народом, войском и палачами с их орудиями. Гетман Острица, обозный генеральный Сурмила и полковники Недригайло, Боюн и Риндич были колесованы и им переломали поминутно руки и ноги, тянули с них по колесу жилы, пока они скончались; полковники Гайдареvский, Бутрим, Запалей и обозные Кизим и Сучевский пробиты железными спицами насквозь и подняты живые на сваи; есаулы полковые: Постылич, Гарун, Суляга, Подобай, Харчевич, Чудан, Чурай, и сотники: Чуприна, Околович, Сокальский, Миревич и Ворожбит прибиты гвоздями стоячие к доскам, облитым смолою, и сожжены медленно огнем; хорунжие: Могилянский, Загреб, Скребило, Ахтырка, Потурай, Бурлей и Загнибеда растерзаны железными когтями, похожими на медвежью лапу; старшины: Ментяй, Дунаевский, Скубрый,

Глянский, Завезун, Косырь, Гуртовый, Тумарь и Тугай четвертованы по частям. Жены и дети страдальцев оных, увидя первоначальную казнь, наполняли воздух воплями своими и рыданием, но скоро замолкли: ... оставшихся же по матерям детей, бродивших и ползавших около их трупов, пережгли всех в виду своих отцов на железных решетках, под кои подкидывали уголья и раздували шапками и метлами.

Главные члены человеческие, отрубленные у означенных чиновников малороссийских, как-то: головы, руки и ноги развезены по всей Малороссии и развешены на сваях по городам. Разъезжавшие при том войска польские, наполнившие всю Малороссию, делали все то над малороссиянами, что только хотели и придумать могли: всех родов бесчинства, насилия, грабежи и тиранства, превосходящие всякое понятие и описание. Они, между прочим, несколько раз повторяли произведенные в Варшаве лютости над несчастными малороссиянами, несколько раз варили в котлах и сжигали на угольях детей их в виду родителей, предавая самых отцов лютейшим казням. Наконец, ограбив все церкви благочестивые русские, отдали их в аренду жидам, и утварь церковную, как-то: потиры, дискосы, ризы, стихари и все другие вещи распродал и пропил тем же жидам, кои из серебра церковного поделали себе посуду и убранство,

а ризы и стихари перешили на платье жидовкам; а сии тем перед христианами хвастались, показывая нагрудники, на коих видны знаки нашитых крестов, ими сорванных. И таким образом Малороссия доведена была поляками до последнего разорения и изнеможения, и все в ней подобилось тогда некоему хаосу или смещению, грозящему последним разрушением. Никто из жителей не знал и не был обнадежен, кому принадлежит имение его, семейство и самое бытие их, и долго-ли оно продлится? Всякой с потерием имущества своего искал покровительства то у попов римских и униатских, то у жидов, их единомышленников, а своих непримиримых врагов, и не мог придумать за что схватиться».

Как историк Георгий Конисский еще не оценен по достоинству, ибо счастливый мадригал приносит иногда более славы, нежели создание истинно высокое, редко понятное для записных ценителей ума человеческого и мало доступное для большего числа читателей.

Протоиерей И. Григорович, издав сочинение великого архиепископа Белоруссии, оказал обществу важную услугу. Будем надеяться, что и великий историк Малороссии найдет себе наконец столь же достойного издателя. ■

«Современник» 1836 г., №1.



ИРИНА КАЛУС

Родилась в городе Армавире. Доктор филологических наук, профессор Пятигорского государственного университета, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Парус». Автор статей и книг по истории русской литературы и литературной критике. Живёт в Ессентуках.

«НАШ» ПУШКИН

«МИРСКИЕ ЗАБЫВАЙ ПЕЧАЛИ...»

(А. С. Пушкин)

Жизнь в обыденности, без всякой высокой ноты, неизбежно стягивает вниз, поэтому открытие в череде дней поэзии позволяет нашему сердцу звучать и радоваться, наполняя его той жизненной силой, что «движет солнце и светила»; помогает видеть красоту и смысл в трагедиях; позволяет знать, не прибегая к логике; позволяет чувствовать и действовать вопреки неумолимым обстоятельствам.

Природа поэзии неизменно ускользает от нас, но ее удивительная невесомая материя будоражит сердце и ум своей неразгаданностью. Когда делаешь первый шаг к определению сути поэтического взгляда на мир, когда читаешь размышления об этом самих поэтов, понимаешь, что «символичность» одерживает победу над попытками «сформулировать».

«Поэзия — это небо нашей литературы», — сказал современный писатель из города Мышкина Николай Смирнов. Пожалуй, трудно выразиться точнее или не согласиться с вышеприведенным определением. И «небесность» литературы русской еще потому так бездонно светла, что и сегодня глубину ее сияния обеспечивает «солнце русской поэзии» — наш «поэт мирового лада» (по Василию Розанову). Само обращение к имени Пушкина священно для настоящего любителя русского слова. Но что же такое любить А. С. Пушкина?

О, нет, только не «рубить дрова», по Владимиру Маяковскому, «до ночи грачей»!..

К сожалению, от человека современности Пушкин удаляется во времени и пространстве

все дальше и дальше, но, к счастью, есть незримые прочные нити, сплетающие время-вечность, и в этих «тонких», но «властительных связях» наша близость к гению только укрепляется и уточняется новыми штрихами.

«НЕБОМ ИЗБРАННЫЙ ПЕВЕЦ»

(А. С. Пушкин)

«Я хотел показать живого Христа, а не абстракцию...» — говорил Юрий Кузнецов, создавая свои стихотворения и поэмы о Христе. — «Он ведь был первым поэтом человечества, он мыслил и разговаривал с народом, как поэт...»

Вдохновляющая задача такого «возвращения» поэзии периодически возникает при столкновении с любым по-настоящему значимым явлением. Целостное понимание живого пушкинского наследия — не столько в поэтике, сколько в «небесной» сфере духа. Народность, всеобщность присущи творчеству Пушкина по природе, потому что он воспринимал народ в первую очередь как духовное понятие. Иными словами, воспринимать и любить Пушкина без учета его вклада в формирование национального духа, русской культуры в целом невозможно.

Как же «вернуть» нам «живого Пушкина», чтобы, с легкостью преодолев протеические, текучие время и расстояние, мы смогли расслышать голос поэта, «...а не шорох страниц» (Юрий Кузнецов)? А может быть, русский гений всегда с нами, а возвращение — шаг, который нам самим предстоит сделать ему навстречу?

Отечественное литературоведение переживало разные этапы, и кардинально важным являлось его восприятие и интерпретация лич-

ности, судьбы и наследия Пушкина. Это было своеобразным показателем духовного здоровья и чертой, разделяющей литературных «агнцев» и «козлищ».

Для первых было характерно пребывать в постоянном внутреннем доверительном диалоге с Пушкиным — как с членом семьи, как со «своим», родным (по Василию Розанову). Вторые же впадали в отрицание — чаще всего тех черт личности поэта, которые были доминантой его мировоззрения, — либо дорисовывали поэту такие «усы» и «рога», каких он сроду не нашивал. Среди вторых — как современники по веку, вроде Виссариона Белинского, так и представители последующих столетий, вроде убежденного европейца Дмитрия Мережковского, а далее — столпов литературоведения советского или их оппозиционеров, таких как Абрам Терц, и совсем уж новейших, живущих в XXI веке, — минкиных, а также «юбилейных» экранизаторов текущего дня.

Аполлон Григорьев выразил необходимость в целостном восприятии творчества и личности Пушкина. «Наше все» — та общая национальная христианская основа — жизненное вещество народа, вне которого поэт рассыпается на буквы и жанры. Искать это вещество следует, только забирая сильно «выше» (даже Александрийского столпа), ибо сам Пушкин прямо и открыто говорил о «небоизбранности» и пророческой миссии «таинственного певца». Остается грустно пошутить о том, что, возможно, наличие пресловутой «тайны» как-то и запутало представителей второй когорты.

«ОБРАЗ, КОТОРЫЙ МЫ ДОЛГО ЕЩЕ БУДЕМ ОТТЕНЯТЬ КРАСКАМИ»

(А. А. Григорьев)

Дополняя известные слова Аполлона Григорьева, еще раз подчеркнем, что Пушкин явил-

ся представителем не только всего душевного, но и духовного. Обращаясь к творчеству поэта, необходимо учитывать, что он был еще и глубочайшим политическим (и геополитическим) мыслителем. Богатырство его духа заключалось в умении выстоять после «всех столкновений с чужим, с другими мирами» (Аполлон Григорьев).

В самый нежный период, когда личность Пушкина проходила формирование, в так называемом высшем обществе признаком «хорошего политического вкуса» считалось иметь дома запыленные книги, осуждать царя и правительство. Пушкин первым подметил характерную черту зарождающейся в России интеллигенции: ее оппозиционность своему Отечеству. Интеллигенция упала на колени перед всеми европейскими философскими и политическими учениями, опирающимися на основные масонские идеи. Именно она начала колебать «треножник» Православия, Самодержавия и Народности — все то, с чем Пушкин чувствовал кровную внутреннюю связь, то, что давало ему духовные силы. И эту доминантную часть мироощущения зрелого поэта «орден русской интеллигенции» (по Борису Башилову) никогда не мог принять.

Василий Иванов утверждал, что к моменту своей гибели Пушкин стал национальным духовным вождем. Высота Пушкина состояла в том, что из духовной брани со временем он вышел победителем и, когда влияние и авторитет его стали слишком велики и опасны для установившегося порядка вещей, тогда и оборвалась его история, а по сути — воплотился сценарий, повторившийся потом для Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, целой плеяды новокрестьянских поэтов (Николая Клюева, Павла Васильева, Василия Наседкина, Ивана Приблудного и др.), Василия Шукшина, Юрия Селезнева и др.

**«РАЗ ЭТО ПУШКИН СКАЗАЛ,
ЗНАЧИТ, ЭТО ВЕРНО»**

(Н. В. Гоголь)

В письме к Жуковскому Гоголь восхищался любимым поэтом: «...Как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! ...Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значение великих истин!»

Сегодня это очевидно, но историки часто умалчивают, что политический радикализм, атеизм, нигилизм, антихристианская мистика и масонство прошли для Пушкина, «как сон, как утренний туман» — как увлечения юности, как результат лицейского воспитания, как неизбежные влияния атмосферы века, не занимая хоть сколько-нибудь серьезно его ум, не захватывая души. И с учетом этого Пушкина, как впоследствии славянофилов, Гончарова, Достоевского и некоторых других немногочисленных мыслителей XIX века, можно назвать духовным Эверестом своей эпохи, символом победы русской чести и духа, победы национальной государственности над европейскими соблазнами.

Будучи последовательным учеником Николая Карамзина, работая над «Борисом Годуновым», Пушкин скрупулезно и аналитически изучил Смутное время, эпоху Петра I, эпоху Пугачева — три важнейших исторических периода, определивших дальнейшую судьбу России. В то время, когда интерес поэта к истории носил устойчивый и осознанный характер, изучение истории и древних памятников в образованной русской среде только начиналось. По замечанию Петра Вяземского, «в Пушкине было верное понимание истории, свойство, которым одарены не все историки...».

Нечасто упоминают, что реформы Петра I поэт расценивал как революцию: «Он чутким сердцем почувствовал и живым умом осознал,

что путь революции — самый ужасный и наименее надежный путь для усовершенствования жизни» (Василий Иванов). Лучшие изменения, которые могут произойти в государстве, по мнению Пушкина, — только те, которые происходят «от улучшения нравов». Учитывая это, по-другому прочитываются образы героев «Капитанской дочки», «Дубровского», «Евгения Онегина».

Мы, конечно же, помним гениальные письма Пушкина к Чаадаеву. Напомним также, что в 1831 году Пушкин напишет «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», а за три года до смерти — своеобразное «Путешествие из Москвы в Петербург» как ответ Александру Радищеву в форме путевого дневника, прорисовывая обратный во всех смыслах маршрут и опрокидывая коварный вымысел и ядовитые претензии Радищева к Российскому государству: «Строки Радищева навели на меня уныние... Я обратился с вопросом к англичанину, сидящему подле меня в карете... (...) Отвечая на вопрос, что его более всего поразило в русском крестьянине, англичанин ответил: “Его опрятность, смышленность и свобода... Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи?”» («Разговор с англичанином о русских крестьянах» из «Мыслей на дороге»). Пушкинские слова, адресованные Радищеву: «Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви», перефразируя, повторит Гоголь: «Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не преклоняет». Любовь Пушкина к истине и духовной красоте, стремление к творчеству, созиданию, а не разрушению — основная черта его гениальной моцартианской души, неубиваемой никаким ядом, отражающей желание поэта быть «моральным человеком», и изображать, по слову Вяземского, «...то, что любезно сердцу русскому...».

«ЖИЛ БЫ ПУШКИН ДОЛЕЕ...»**(Ф. М. Достоевский)**

Василий Жуковский, свидетель кончины поэта, писал: «Пушкин умер глубоким христианином, в примирении, любви и просветлении». Приведем эти печальные строки Жуковского о поэте, лежащем на смертном одре:

*Было лицо его мне так знакомо,
и было заметно,
Что выражалось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице.
Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью,
глубокой, высокою мыслью
Было объято оно, мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним...
И спросить мне хотелось:
Что видишь?*

Смерть русского гения была столь же глубокой по своему нравственному наполнению, как и его жизнь, — эти два экзистенциальных понятия стали образцовым примером прихода человека к высоким и простым истинам, выступили парадоксальным умением даже фактом гибели послужить национальному возрождению.

Пушкин, лежащий на смертном одре, как будто бы уже «видел» и пронзительные стихи Лермонтова на свою смерть, и сочинения славянофилов, Аполлона Григорьева, Федора Достоевского, и венки славы от русской эмиграции, «унесшей Россию» и бережно хранящей Пушкинское белое знамя. «Видел» и самые глубокие — религиозно-философские — интерпретации своего творчества: сочинения митр. Антония, митр. Анастасия, архимандрита Иоанна, архимандрита Константина, статьи И. Ильина,

работы Вас. Иванова, Б. Башилова, В. Непомнящего и др. И отражались в его глазах глаза множества «русских мальчиков», для которых он стал самым первым и лучшим собеседником в самых сложных вопросах.

«ТРЕТЬЕГО ДНЯ Я ПОЖАЛОВАН**В КАМЕР-ЮНКЕРЫ...»****(А. С. Пушкин)**

Понимая пророческий и богоносный характер творчества Пушкина, бывает сложно смириться с тем, как «нашего Пушкина» видит Европа, через чьи соблазны, совершив духовное усилие, поэт мужественно перешагнул. Приведем лишь несколько высказываний известного чешского слависта Иво Поспишила из его книги «На форпостах теории и истории русской классической литературы» (Colloguia Litteraria Cedlcensia: XX, Siedlce, 2015, 202 с., написана на русском языке):

«Можно было бы с определенной долей преувеличения говорить о романной одержимости камердинера Александра Пушкина»; «Пушкин был своего рода „машиной“ для производства разнообразных сюжетов (некоторые „подарил“, как известно, Н. В. Гоголю)...»; «Пушкин — эмбриональный романист любовных историй, разыгрывающихся в экзотической среде...»; «Он, следовательно, романист или квазироманист, который скорее инициировал, чем заканчивал — в этом его судьба очень русская».

В этих фразах обидно звучит для русского слуха практически все: не только интерпретации, ломаная стилистика, но и подбор чуждой, уничтожающей образ поэта-пророка, лексики: «одержимый», «машина», «эмбриональный», «квазироманист». И, конечно, не к месту упомянутое «камердинерство», которым автор попросту унижает Пушкина, совершая шокирующе грубую фактическую ошибку. Пушкин был

камер-юнкером (чиновники по ошибке повысили поэта, записав его камергером, и этот факт вскрылся только после расследования дуэли). Напомним, что камергер — придворный чин, должность и звание, а вот камердинер, в которого превращен дорогой русскому сердцу Пушкин «легким манием руки» чешского исследователя, — комнатный слуга при господине в богатом дворянском доме.

Что бы написал по этому поводу Пушкин?

О своем камер-юнкерстве он тогда оставил знаменитую январскую запись в дневнике от 1834 года: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)».

Что можно написать по этому поводу пану Иво? «Он, следовательно, машина для производства разнообразных квазиисторий». Довольно неприлично.

«ОТКУДА ДРОВИШКИ?»

(Н. А. Некрасов)

Вспоминаются выстрельно-точные слова Юрия Кузнецова, сказанные им о поэме «Сошествие в ад», но, по большому счету, относимые ко всем «живым» строчкам, написанным «живыми гениями»: «Это действительно было. Поэт сошел в ад. Если это литература, то поэме моей грош цена».

Незримое «стекло», стоящее «между миром и Богом» растворяется огненной фразой Юрия Кузнецова. Настоящий поэт — «связист», соединяющий миры, скрепляющий народ самым фактом своего бытия, заключающий в единичном существовании «наше все». Наш Пушкин — наша любовь к ближнему, стойкость и внутренняя борьба с искушениями, это наша гордость и победа над гордыней, это наша прочная, нерушимая вера в себя и в будущее России, наша общая связь и единение.

Поэтому, возвращаясь к любимому нами Пушкину, к его жизни, смерти и всем дерзновенно-промыслительным сочинениям, хочется повторить: «Это действительно было».

Это так есть и так будет.

И если это всего лишь «литература», то место ей где-то «в глуби» заднего «двора» филологической науки, где «силой своей играючи», соревнуются в «рубке дров» теоретики и историки литературы, литературоведы, критики и лингвисты всех мастей, не видящие могучего русского леса за деревьями «языковых единиц», растаскивающие их на «дровишки», не ощущающие воздуха горних высот и не поднимающие своих глаз к литературному «небу», где бессменно горит-сияет наш Пушкин — «путеводная звезда русской культуры». ■



АНДРЕЙ БЕЗРУКОВ

Родился в 1957 году. Доктор филологических наук, профессор Армавирского государственного педагогического университета. Автор монографии «Возвращение к православному и категория страдания в русской классике XIX века» и других работ по истории русского художественного слова XI – XX веков.

Живёт в Армавире.

АПОЛОГИЯ РОССИИ: А. С. ПУШКИН

«Пушкин, — пророчески писал Гоголь в 1834 году, — есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

Время неумолимо приближает нас к указанному рубежу... Явится ли ожидаемый Гоголем русский человек?

Пророки не ошибаются, просто часто пророчества сбываются позже ожидаемого срока. Разве мог Гоголь, творческое воображение которого способно было создать картины поистине апокалипсического масштаба, только представить себе, какой страшной силы катаклизмы будут сотрясать нашу землю, какой дьявольский механизм будет крушить и корезить жизни и души миллионов русских людей!

Но если было явление Пушкина, значит, чаемый Гоголем русский человек обязательно явится! «Все наши жилы бились в натуре Пушкина», — свидетельствовал пламенный Ап. Григорьев. — А потому натура Пушкина билась в жилах русских людей на протяжении жизни нескольких поколений. Бьется она и сейчас!

«Климат, образ правления, вера дает каждому народу особую физиономию, которая более или менее выражается в зеркале поэзии», — писал Пушкин. — Ему и было предназначено стать этим зеркалом! Пушкинское художественное Слово укореняло русского человека в национальном бытии, определяло его место среди других народов, формировало русскую идею, намечало исторические пути и судьбы России, а в перспективе — и мировой цивилизации. А слова «русский», «Россия» в творчестве Пушкина обретали особое, духовно-цивилизационное звучание. В понятие «Великая Русь»

поэт включает все языки (народы), проживавшие тогда на территории современного ему Российского государства («Я памятник воздвиг себе нерукотворный...»).

Сам правнук арапа Петра Великого, Пушкин в письме младшему брату Льву Сергеевичу просит его не забыть «Фон-визина писать Фонвизин», то есть слитно, без выделения частицы фон, которая указывала бы на принадлежность драматурга к немецкому дворянскому роду, и добавляет: «Что он за нехрист? Он русский, из перерусских русский».

В этом письме замечательно многое.

Первое. Казалось бы, такой пустяк: Пушкин просит брата, правящего для печати текст первой главы романа «Евгений Онегин», не забыть написать фамилию Фонвизин. Ну не забыть, ну слитно... А между тем Пушкин тут же делает приписку весьма экспрессивного характера. Поэт нарочито подчеркивает русскость Фонвизина: русский, перерусский, русский (причем приставка пере- в слове «перерусский» указывает на русскость в абсолютной степени). Более того, на наличие русскости драматурга как духовной субстанции указывает очевидное подчеркивание Пушкиным того факта, что Фонвизин — не нехрист, то есть он — христианин, а значит — православный. Слова православный и русский в пушкинские времена фактически были синонимами.

Пушкин, ощущающий себя русским, прекрасно знал, кем по крови был его прадед по линии матери, урожденной Ганнибал. В силу этого ему было принципиально важно не только подчеркнуть, но, скажем даже, утвердить русскость Д. И. Фонвизина, чей предок, немецкий барон Питер фон Визен, перешел на русскую службу во времена Ивана Грозного. Как видим, по Пушкину, русскость не

передается по крови, она порождается духом национальной жизни, пребыванием в лоне национального бытия.

Однако, как известно, под лежащий камень вода не течет и пребывание в этой атмосфере должно быть духовно активным. Это прекрасно понимал и чувствовал боготворивший Пушкина Достоевский, который следующими словами описывает характер обретения поэтом русскости: «Сам, силою своего гения переделавшийся в русского... Это был один из первых русских, ощутивший в себе русского человека всецело, вызвавший его в себе».

Второе. Пушкин заканчивает письмо строками, которые принято называть хрестоматийными: «...вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем самым недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» Речь, разумеется, идет о няне Арине Родионовне, погружающей по-европейски образованного Пушкина в чудный, неведомый ему ранее мир жизни народной души.

В главе II «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевский как раз говорит о спасительной роли нянек и мамок, которые не позволили русскому дворянству окончательно переродиться в европейцев, и приводит в пример пушкинскую Арину Родионовну: «...не было б Арины Родионовны, ... так, может быть, и не было б у нас Пушкина? Ведь это вздор... А что, если и в самом деле не вздор?» Здесь же Достоевский указывает на то, что не только удержало Пушкина от перерождения в европейца, но и позволило ему стать пророком и провозвестником — переход поэта на «точку народного духа», иными словами — обретение возможности смотреть на мир русскими глазами. Именно это и произошло с Пушкиным осенью 1824-го вскоре после возвращения из южной ссылки в русскую деревню Михайловское. Письмо младшему брату Льву Сергеевичу, написанное в Михайловском и датированное первой половиной ноября, как раз и зафиксировало момент завершения процесса переделывания поэта в русского. Отныне сила пушкинского гения будет направлена

на апологию России — ее защиту и отстаивание ее особого предназначения.

Пушкинскому гению было доступно понимание общих законов Бытия — вселенского, всечеловеческого, национального, личностного. Покорно принимая волю Божию, противоборствуя злой воле человека, поэт изобразил действие этих законов в совершенной художественной форме — форме живой жизни.

Наверное, в этом и проявляется та основополагающая национальная черта личности Пушкина, которую Достоевский назвал «всемирной отзывчивостью». Прежде всего она понималась им как «свойство перевоплощаться вполне в чужую национальность». Пушкин не только выходит за рамки чисто художественного и этнографического перевоплощения, не только адекватно передает дух другой нации, не только проходит со своими героями все этапы их становления и развития, но, восхищаясь ими или сочувствуя и сострадая им, как русский человек, примеряет их жизненный опыт на себя, сохраняя при этом «свою физиологическую, типовую самостоятельность» (Ап. Григорьев).

Заочная творческая командировка Пушкина в Европу по линии русской литературы, начавшаяся в Лицее с поклонения перед «султаном французского Парнаса» Вольтером, закономерно завершилась в русской деревне Болдино осенью 1830 года. Пушкинским «отчетом» стали «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина».

В «Маленьких трагедиях» поэт не просто «проходит сознанием те фазы развития» (Ап. Григорьев), которые претерпела западноевропейская личность в самоутверждении на основе гуманистических ценностей. Глядя на мир глазами «своей национальной стихии» (Гоголь), он исследует эти инодуховные ценности в русле русской традиции категорического отрицания индивидуалистического/эгоистического/эгоцентрического начала в любых формах его проявления как начала однозначно губительного и для самой личности, его носительницы, и для ее окружения. Ослепляющая власть денег («Скупой рыцарь»), кастовость, прикрываемая идеей служения высокому искусству

(«Моцарт и Сальери»), эгоистическая любовная страсть («Каменный гость») и, наконец, прославление «царствия Чумы» в отчаянье гордыни, облекшейся в тогу спасительницы жизни вплоть до танцев на гробах почти в буквальном смысле этого выражения («Пир во время чумы») — вот трагический опыт человека Запада. Пушкин искренне сострадает героям трагедий, выбравшим столь убийственную для себя форму самоутверждения — самодовления. Поэтому и в последней реплике текста пьесы, завершающей цикл («Спаси тебя, Господь.//Прости, мой сын»), и в заключительной ремарке трагедии («Пир продолжается, Председатель остается погруженный в глубокою задумчивость») он оставляет герою возможность духовного воскресения.

Идею самодовлеющей личности, неизбежно разрастающейся вплоть до дерзкого вызова общему закону человеческой жизни, Пушкин противопоставил самостоянье человека, утверждающегося на основе приятия этого общего закона:

*Два чувства дивно близки нам —
В них обретае сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*На них основано от века,
По воле Бога Самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.*

Такое самостоянье, по Пушкину, возможно исключительно в благотворной атмосфере русской национальной деревенской жизни. Вспомним двойной эпиграф ко II главе «Евгения Онегина», основанный на созвучии латинского слова «деревня» (O rus!) и древнего названия России (O Русь!). Это позволило пушкинскому гению на уровне художественно-эстетическом закрепить в национальном сознании то самое единство земли и государства, предопределяющее органическую нерасторжимость индивидуальной/личной судьбы русского человека с

судьбами Отечества, которая является лакмусовой бумажкой русскости как таковой.

Об этом он скажет в «Повестях Белкина».

Легкомысленное отношение к ценности данной человеку жизни («Выстрел»), ветреность, обернувшаяся «преступной проказой» против святости брака («Метель»), угрюмая замкнутость на себе («Гробовщик») или забвение родственных чувств в ослеплении любовью и роскошью («Станционный смотритель») ведут пушкинских героев к неизбежной трагедии.

И только возвращение — через раскаяние и искупление — в лоно национального бытия с его неизменными устоями или открывшаяся возможность такого возвращения дарует им способность вновь обрести смысл и радость жизни.

Бурмин («Метель») и граф Б* («Выстрел») находят счастье в любви и браке, «блудная дочь» Дуня («Станционный смотритель») возвращается домой и плачет на могиле отца, в угрюмой душе Адриана Прохорова («Гробовщик») появляется проблеск отцовского чувства.

Один только Сильвио — носитель чужеземного имени и чуждых русскому миру чужеземных страстей — остается во власти порожденного гордыней чувства мести, а его торжество над обидчиком становится пирровой победой.

Почти безоблачно складываются судьбы героев последней повести «белкинского» цикла — «Барышня-крестьянка». Застарелая вражда отцов, казалось бы, должна стать непреодолимым препятствием счастью детей, однако она легко прекращается по «вздорному», как сказали бы в пушкинскую эпоху, поводу — «от пугливости куцой кобылки». Правда, в известной повести Гоголя «два единственные друга» становятся и остаются смертельными врагами по куда более «вздорному» — из-за «поносного» слова «гусак». Но суть не в поводе. Суть в качестве той духовной атмосферы, в которой пребывают люди. Бессмысленное миргородское существование гоголевских героев порождает столь же бессмысленный конфликт. А здоровая атмосфера жизни русской деревни, наоборот, утишает амбиции пушкинских героев,

раскрывает ничтожность и никчемность личной вражды и ненависти. Неколебимая вера самого Пушкина в крепость национального уклада, в его животворные силы оберегает героев повести, помогает им избежать трагедии. Тень вражды Монтекки и Капулетти навсегда отступает от семейств Берестовых и Муромских.

В рукописи пушкинского стихотворения «Пора, мой друг, пора!.. Покоя сердце просит...» сохранился план его продолжения, который можно считать планом на будущее для самого поэта, а по сути — для каждого русского духом человека: «О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть».

Пушкин прекрасно понимал, что действительное самостоянье русского человека, даже укоренного в национальной традиции, невозможно без самостоянья России как единственного гаранта национального и личностного бытия. В этом и проявляется высшая форма всемирной отзывчивости поэта как способность его гения выявлять, оценивать, отстаивать и утверждать сущностные проявления русского национального духа в судьбоносные моменты исторического развития России как страны-цивилизации.

Когда-то Пушкин вместе с польским поэтом А. Мицкевичем находился в нетерпеливом ожидании того исторического момента, когда «народы, распри позабыв,/В великую семью соединятся» («Он между нами жил...»). Вскоре А. Мицкевич «ушел на запад», и — как неизбежное следствие такого ухода — уже «до нас/Доходит голос злобного поэта,/Знакомый голос!». Русский поэт предвидел: объединение народов в «великую семью», без «распрей» по западноевропейским гуманистическим лекалам, то есть за счет России и на обломках России — просто невозможно. Он понимал, что история России «требуется другой мысли и другой формулы», и был абсолютно уверен в том, что России «определено высокое предназначение».

Поэтому уже в 1831 году во время подавления очередного польского бунта поэт решительно становится на сторону правительства Николая

I. Отстаивая национальные интересы России, он нисколько не боится прослыть «душителем народных/национальных свобод» (и по сей день это одно из самых тяжких обвинений в устах «цивилизованного» Запада) хотя бы в силу того, что по его, пушкинскому, глубокому убеждению Россия не только не душитель национальной свободы, но, наоборот, даритель и защитник ее в силу специфики характера русского народа и русской государственности. Поэтому Пушкин прямо обличает западноевропейских политиков — «народных витий», разыгрывающих в своих интересах польскую карту. Русский поэт задается риторическим для себя и для нас вопросом «За что Запад нас ненавидит?» и отвечает на него, подводя итоги Отечественной войны 1812 года, провидя сквозь столетие итоги Великой Отечественной войны:

*... за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..*

Картина до боли знакомая: освободители называются оккупантами, миротворцы объявляются агрессорами. В июле 1831 года в письме А. Х. Бенкендорфу Пушкин констатировал: «...озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной, бешеной клеветой». А спустя три года Пушкин скажет о европейских «союзниках» и «партнерах» уже окончательно и бесповоротно: «Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна».

«Переделавшись в русского», став на «точку народного духа», Пушкин в своем самостоянье прекрасно понимал то, что не было доступно многим русским европейцам, в том числе людям из его ближайшего окружения, таким, как, например, П. А. Вяземский: в геополитическом

экзистенциональном противостоянии России и Запада Польша не является субъектом и, следовательно, не обладает суверенностью. Поэтому разговоры об обидах и страданиях поляков, об их погрязших национальных свободах и прочее надо отбросить. В письме П. А. Вяземскому от 1 июля 1831 года подобные вещи Пушкин относит к разряду «общих предметов внимания и страстия». По поводу героизма поляков Пушкин заметит: «Все это хорошо в поэтическом отношении». И жестко резюмирует: «Но все-таки их надо задушить, и наша медлительность мучительна».

Свою оценку позиции Пушкина в отношении польского бунта П. А. Вяземский дал в «Записной книжке» за сентябрь 1831 года. К этому времени уже вышла брошюра «На взятие Варшавы» с тремя стихотворениями В. А. Жуковского и А. С. Пушкина. П. А. Вяземский пишет: «Наши действия в Польше откинут нас на 50 лет от просвещения Европейского. <...> В поляках было геройство отбиваться от нас так долго..., нравственная победа все на их стороне. <...> За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? <...> Народные витии, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы ответить ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи подобные вашим».

Аналогия напрашивается сама собой. Наверное, следует еще раз отдать должное пушкинскому гению, способному через столетия адекватно оценить ситуацию, связанную с причинами и ходом проводимой Россией специальной военной операции. А если в контексте событий, происходящих на территории бывшей Украины, рассмотреть стихотворение «Бородинская годовщина», написанное Пушкиным вслед за «Клеветникам России» и сходное с ним по тематике, проблематике и заложенным в нем смыслом, то почувствуешь обжигающее дыхание сегодняшнего дня:

*Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?
Куда отвиним строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волянь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?*

Что же касается позиции П. А. Вяземского, то по сути и тональности она ничем не отличается от позиции сегодняшних российских европейцев/либералов, что еще раз подтверждает правоту оценки русского либерализма, данной Достоевским: «Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все».

Только обретая «свое» как «наше» на основе вечного и всемирного, только укореняясь в нашей/своей почве, в нашей/своей отечественной традиции, в нашем/своем Русском мире, мы сможем познать полноту и красоту человеческого бытия, радоваться «живой жизни».

«А Пушкин — наше все: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что останется нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. <...> Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически нашего» (Ап. Григорьев).

Как-то В. С. Непомнящий (который наряду с Н. Н. Скатовым написал, думается, самые лучшие страницы нашей пушкинистики за минувшие полвека) сказал: Достоевский «буквально пронизан, прожит Пушкиным».

Дай Бог и нам так «попрощаться», хоть самую малость... ■

■ Николай Крижановский (г. Краснодар)

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ О «БАТЬКЕ ТАРАСЕ», ИЛИ НАДО ЛИ СМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА?

В последние десятилетия книги литературного критика, писателя, литературоведа Павла Басинского издавались многотысячными тиражами и распространялись по всей России и за ее пределами. Его творчество было отмечено и национальной премией «Большая книга» (2010), и Государственной премией РФ (2018), и орденом «За заслуги в культуре и искусстве» (вручен 8 февраля 2024 года), и многими другими высокими наградами и премиями.

В начале марта 2024 года, когда часы истории вели отсчет уже третьего года СВО, известный литературный деятель написал и опубликовал в «Российской газете» неожиданный текст. В нем Павел Валерьевич проявил, на наш взгляд, ряд достойнейших качеств: удивительное «миролюбие», прекрасное «знание» истории, «понимание» современной политики, основательное «умение» оперировать фактами и убеждать. Но обо всём по порядку.

Название статьи — «Наш поэт Тарас Шевченко: автору “Кобзаря” исполняется 210 лет» [1]. Автор этого юбилейного материала стремится вложить в сознание современного отечественного читателя несколько тезисов. Первый гласит: Шевченко — всемирно известный творец (его читают и знают «от Бразилии до Китая» [1]) и самый известный во всем мире украинский поэт. Невозможно оспорить этот тезис. Несомненно, что Гомер, Шекспир,

Байрон, Гете, Гюго, Пушкин и прочие ничуть не лучше Шевченко. А может быть, и хуже. Ни для кого не секрет, что социал-демократы всего мира еще с дореволюционных времен боровшиеся с имперской Россией, а также советские критики, литературоведы и переводчики много сделали для его популяризации. Еще до 1917 года газеты России ко всем датам, связанным с Шевченко, публиковали в память о кобзаре большие подборки статей с бунтарским и антимонархическим подтекстом. Но отметим, что особенно уважаемым и даже, возможно, самым любимым поэт стал для гитлеровцев и их приспешников. Они в оккупированной Советской Украине выразили желание, чтобы портрет Шевченко висел во время различных собраний рядом с фото их фюрера, а памятник кобзарю в центре Киева стал единственным советским монументом, не снесенным фашистами [3].

Второй тезис сформулирован так: поэт «культурно объединяет две страны, сегодня находящиеся в военном конфликте» [1]. Мы, конечно, всегда за объединение, особенно «культурное». Тем более, страны находятся «в военном конфликте». Немного уточним. Сам малоросс (слово «украинец» Шевченко не использовал нигде, а в его написанном только по-русски дневнике на девять слов с грамматической основой «украин-» есть 32 слова с основой «малоросс-») испытывал патологиче-

скую ненависть к участвовавшим в выкупе его из крепостной неволи Николаю I и его милосердной супруге. Достаточно прочитать несколько известных произведений («Катерина» (1842), «Разрытая могила» (1843), «Сон» (1844), «Опять настало время злое...» (1853–1859), «Хотя лежачего не бьют...» (1860)) и хоть немного изучить дневник [см., например: 7, с. 67–68] Шевченко, чтобы понять: сей муж обладал великолепным «объединяющим» качеством — русофобией. Именно оно позволяло в разных жанрах ярко выразить желание по-своему «объединять» русских с малороссами. Так, например, заявлено и в авторском назидании в поэме «Катерина»: «Чернобровые, любитесь, /да не с москалями, /москали — чужие люди, /глумятся над вами». В лирическом стихотворении «Завещание» («Заповіт») злая вражеская кровь — это не столько кровь «ляхов», кровавым столкновениям с которыми посвящена всего одна поэма Шевченко «Гайдамаки», сколько кровь «москалей». А хорошее отношение к славе «русского оружия», выраженное в малороссийских стихах А. Чужбинского, кобзарь искренне ненавидел [7, с. 42].

Таким образом, Тарас Шевченко выступил во многих произведениях как наследник Мазепы, с которым имел много общего: оба были осыпаны монаршими милостями, оба изменили государю, оба (только каждый по-своему) стремились как можно больше досадить России. Поэтому сегодня творения Шевченко и его судьба никак не могут примирять Россию и Украину. Да и сама формула Басинского: «две страны, сегодня находящиеся в военном конфликте», — ущербна.

На фронте сегодня противостоят не две страны, а русская цивилизация и западные глобалисты. Украина — это взращенный умелыми кураторами проект государства-тарана, государства-инструмента, необходимого для полного уничтожения не подчинившейся Западу России. Странно, что ведущий российский критик этого не знает. Странно, что он говорит такую фразу: «...насколько Шевченко можно считать украинским националистом — это большой вопрос» [1]. Ничуть это не вопрос для всех тех, кто читал названные и не названные нами

произведения. В них все предельно ясно сказано.

Не менее интересен еще один тезис, который так и остался без аргументации: «А вот в императорской России судьба и самого Шевченко и его поэтического наследия была куда менее триумфальной <...> Не мог Шевченко питать симпатии к русскому самодержавию и потому, что десять лет, с 1847 по 1857 год, провел в “солдатчине”» [1]. Выкупленный из крепостного состояния русской (подчеркну: не украинской!) высшей аристократией талантливый, но нравственно ущербный молодой малоросс (сознательно не буду приводить примеров — читайте его автобиографию), попав в Академию художеств, получив государственное содержание, стал общаться с пьяницами и словоблудами-земляками. За собственную подлость в отношении своих благодетелей — монаршей четы — был сослан в солдаты с запрещением заниматься литературой и живописью. В «солдатчине» был обласкан многими либеральными русскими офицерами, сидел с ними за одним столом, получил негласное разрешение писать, ни разу не держал ружья в руках и почти не становился в караул. Добродушные старшие чины дали ему разрешение жить не в казарме, завести огород, быть свободным от многих солдатских обязанностей, а он предавался пьянству и «платил» офицерам за все послабления откровенными презрением. А после службы, вернувшись в Санкт-Петербург и вновь получив государственное обеспечение, никак не изменил своего образа жизни, привычек и отношения к России, ее императору и русскому народу. Ранняя смерть от чрезмерного пьянства и болезней — наиболее трагический, но закономерный исход биографии Шевченко.

П. Басинский, осмысляя биографию своего героя, использует этот прием: «а вот в императорской России...». Если мы его применим к жизни и творчеству Ф. М. Достоевского, то увидим, что, по логике Басинского, писатель должен был во сто крат больше ненавидеть русское государство и его правителей. У него было больше причин, чем у Шевченко, не «питать симпатии к русскому самодержавию». Каторга Достоевского не была легкой

прогулкой по Аральскому морю или киргизским степям, а честная солдатская служба дала возможность получить младший офицерский чин подпоручика. Да и за государственный счет Достоевский никогда не жил.

В отличие от некоторых современных критиков и писателей, в императорской России у многих литераторов, кроме «партийной» принадлежности, оставалось понятие о чести и таланте. Поэтому Белинский не только не мог не критиковать Шевченко за подлость в отношении государя и его супруги («...здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому.<...> Я питаю личную вражду к такого рода либералам» [5, с. 604-605]), но и крайне скептически оценивал развитие малороссийской словесности к началу 1840-х годов (когда Шевченко активно публиковал свои вирши): «...литература, которая только и дышит, что простоватостию крестьянского языка и дубоватостию крестьянского ума!» [2].

А малороссы-творцы, слишком хорошо зная Тараса Григорьевича, писали: «дегтю много» (Николай Гоголь [цит. по: 6]); у Шевченко «полупьяная (в другом варианте — «распущенная». — Прим. Н. К.) муза» (Пантелеймон Кулиш) [цит. по: 6]; «...это просто средний поэт, которого незаслуженно пытаются посадить на пьедестал мирового гения»

(из письма Ивана Франко Василию Доманицкому) [цит. по: 6]. Уже в советское время украинский ультранационалист-коммунист (да, были и такие!!!) Микола Хвильевый отмечал: «...этот, возможно, неплохой поэт и на удивление малокультурный и безвольный человек, разве это не он научил нас ругать пана, как говорится, за глаза и пить с ним водку и холуйствовать перед ним? Именно этот иконописный “батько Тарас” и задержал культурное развитие нашей нации» [цит. по: 6].

В этом контексте довод П. Басинского, что Шевченко «изучали и до сих пор изучают в российских школах», в то время как на Украине отменяют русский язык, нам видится лишь доказательством смертельной болезни советского и постсоветского школьного гуманитарного образования, которое стремилось и, к сожалению, до сих пор стремится воспитать антинационального, антигосударственного, русофобствующего человека. А Шевченко с его произведениями для этого подходит как нельзя лучше.

Упование Павла Валерьевича на то, что «история сама рассудит» и все поставит на свои места, определив, несомненно высокое место Шевченко, а нам, мол, судить нечего — это упование, похожее на предательство, или, возможно, обыкновенное равнодушие к судьбе своей страны. Либо это просто нежелание даже во время СВО смотреть правде в глаза. ■

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Басинский П. В. Наш поэт Тарас Шевченко: автору “Кобзаря” исполняется 210 лет // <https://rg.ru/2024/03/09/pavel-basinskij-o-tom-mozhno-li-schitat-shevchenko-ukrainskim-nacionalistom.html>.
2. Библиографическая хроника // Отечественные записки. 1841. Т. XVI. № 6. Отд. VI. С. 32-34.
3. Большаков А. Подлинный Тарас Шевченко — к 200-летию со дня рождения // <https://zapadrus.su/rusmir/pubru/978-podlinnyj-taras-shevchenko-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya.html>.
4. Кулиш П.А. История воссоединения Руси : Т. 3 / П.А. Кулиш. - Санкт-Петербург : Обществ. польза, 1877. // <https://libking.ru/books/sci-/sci-history/1111816-105-pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom-2.html>.
5. П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892. 666 с.
6. Сокуров С. Моя Шевченкиана к случаю. Очерк Второй // https://zavtra.ru/blogs/moya_shevchenkiana_k_sluchayu_ocherk_vtoroj.
7. Шевченко Т. Повна збірка творів в п'яти томах. Т. 5. Щоденник. — Киев: Державне літературне видавництво, 1939. — 324 с.